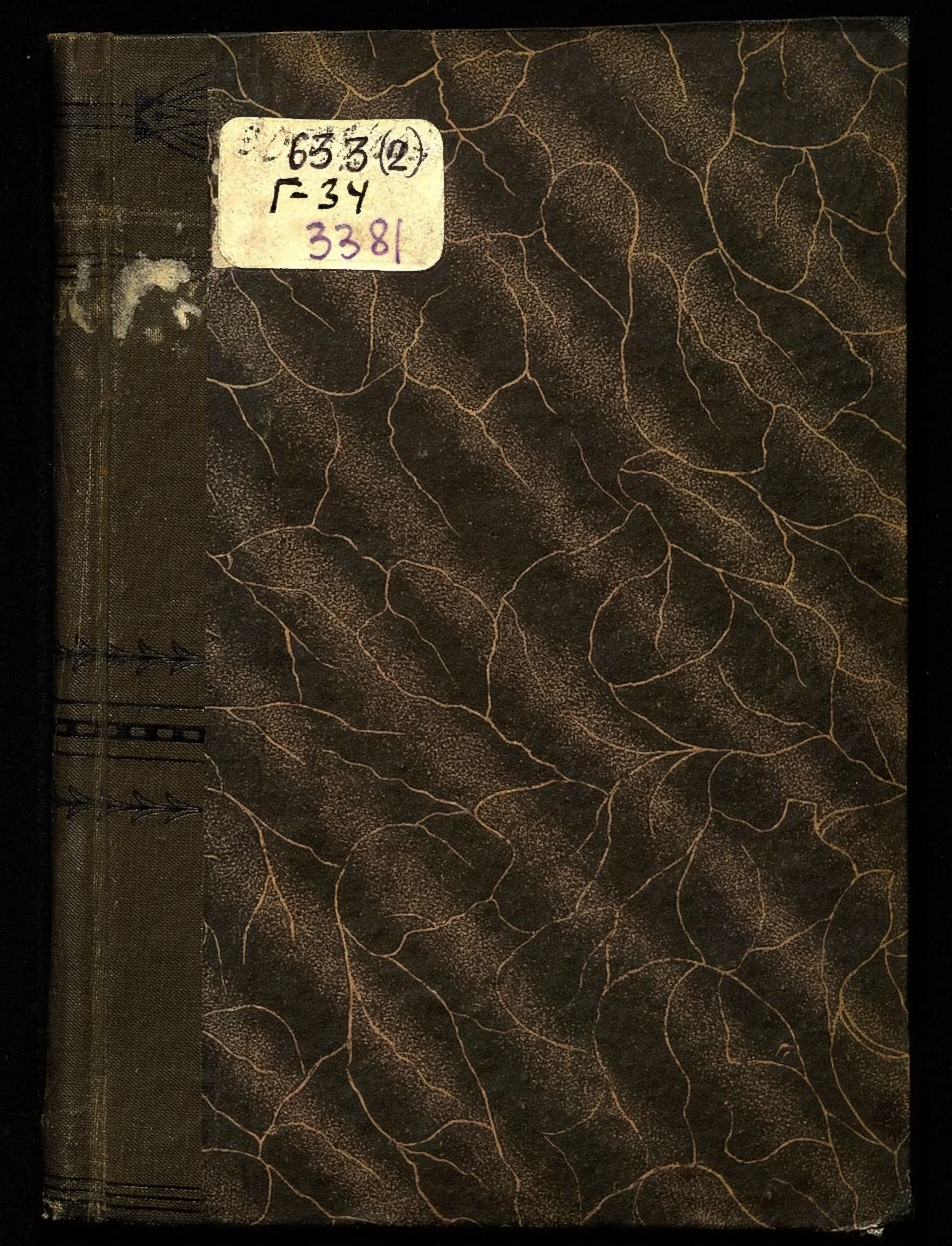
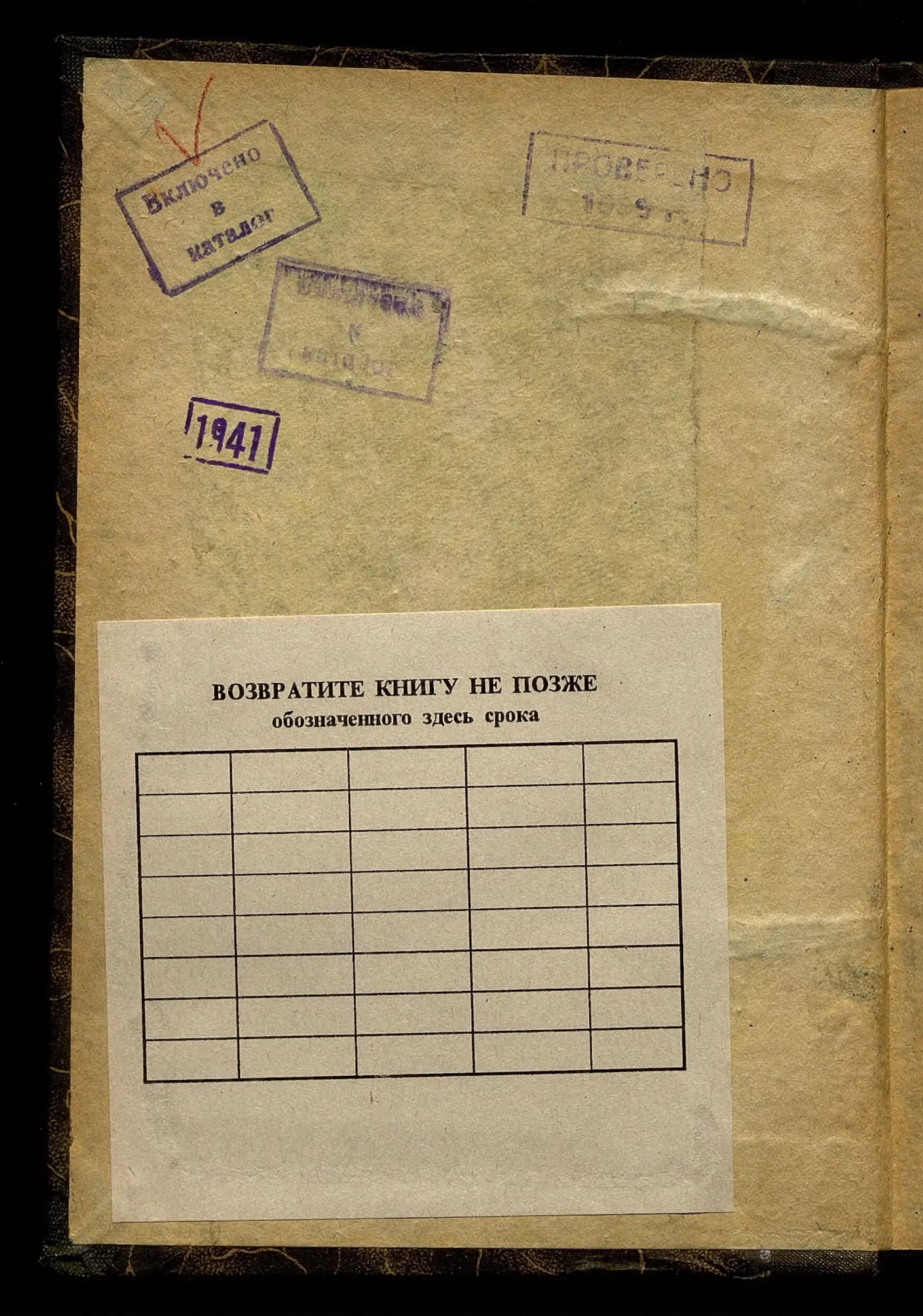

63.3(2)
Г-34
3381



Включено в каталог
1941
ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА.



**И. ГЕНКИН**



# ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
# ПОЛИТИЧЕСКОГО КАТОРЖАНИНА

(1908—1914 гг.)

I. Вологодский централ.
II. По этапу.
III. Орловский централ.
IV. Невинно-осужденные.






ИЗДАНИЕ
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ и КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТРОГРАД, 1919

Воспоминания тов. Генкина о политической каторге относятся к тому времени, когда русское правительство, оправившись после революции 1905 года, вошло в силу и начало жестокую расправу с теми революционерами, которые попали в его руки. Прошла целая полоса истязаний и избиений в каторжных тюрьмах, истязаний столь невероятных, что вести о них казались прямо-фантастическими даже тогда, когда они излагались на трибуне третьей Думы, проваливавшей все запросы о тюремных издевательствах. В литературе этот период освещен крайне недостаточно, и воспоминания тов. Генкина заполняют этот пробел.

На первый раз мы даем три очерка т. Генкина: о вологодском и орловском централах и об этапе. К ним присоединяем четвертый очерк, написанный на основании материалов, собранных в тюрьмах и на каторге, о невинно-осужденных.

*Ред.*

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Маркс, Петроград, Измайл., № 29.

## I.

# Вологодский централ.

...Наконец обыск кончился, и всех нас распределили по разным камерам,—бессрочных отдельно, долго и малосрочных—тоже. Как и во всех тюрьмах старого устройства, камеры здесь такие же неуютные, грязные, воздух в них такой же затхлый и провонявший; по обеим сторонам—брезентовые койки, грязные и засаленные, посредине деревянный стол со скамейками, на которые ночью опускаются койки; в углу около печки большая и высокая из котельного железа парашка, а напротив, в другом углу прибита к стене деревянная, засиженная мухами и поблекшая икона с лубочно-аляповатым изображением Николая Чудотворца. Свету здесь очень мало: как раз перед нашим приходом, когда арестантские роты обращены были в каторжную тюрьму, окна были наполовину заложены камнями и зацементированы.

Со многими из моих сожителей я успел познакомиться еще по пути, во время этапа. Из них в нашей камере наиболее популярным и влиятельным был Глотилин, —„обратник", бежавший с поселения и вторично осужденный в каторгу. Худощавый, сухой, с редкими волосами, пунцово-красным носом и гнусавым голосом, вертлявый и неугомонный спорщик, Глотилин пользовался славой патентованного волынщика, постоянно воевавшего с тюремным начальством. Сидеть в тюрьме ему оставалось недолго, обычной скидки он и так лишен был, как и большинство „настоящих" уголовных, он смертельно ненавидел тюремную администрацию,—вот он и досаждал ей всяческими способами.

По степени влияния шел за ним Петушенко, серьезный и угрюмый человек с маленькими, исподлобья и недоверчиво смотрящими черными глазами. Служил он во Владивостоке матросом, убил оскорбившего его офицера, успел скрыться, но был выдан своей „марухой", как называют временных жен, которыми обзаводятся многие матросы и солдаты. Из каторги он бежал посредством подкопа и благополучно добрался до столицы, но тут он неожиданно встретился со старым приятелем, который оказался членом „Союза активной борьбы с революцией". Выданный им полиции Петушенко был арестован и к прежнему сроку получил прибавку в восемь лет каторги. Парень он толковый и наблюдательный, но как-то пустяково-мелочно-наблюдательный. Он метко и верно усмотрит в человеке десяток маленьких минусов, но не заметит в нем самого существенного и характерного. Особенно ненавидел он интеллигенцию, и с языка его часто срывались озлобленные, ядовитые реплики. На воле он активно не входил ни в одну из революционных организаций, но больше всего он сочувствует анархистам; социал-демократию Петушенко приравнивает к кадетам, а социал-революционерам готов еще предоставить право на существование, если только они почаще будут убивать министров и экспроприировать казначейства и банки.

С Петушенко в приятельских отношениях был Архипов, высокий гвардеец, приговоренный к каторге в связи с делом социал-демократической фракции второй Государственной Думы. Среди солдат его роты шла агитация за подачу петиции, в связи с чем к ним на собрания и митинги приходили думские депутаты и партийные ораторы. Сам Архипов из торговых служащих, человек мало развитой, в программах почти не разбирается, зато своим прямым и откровенным характером, своей прирожденной деликатностью и тактом, своим добродушием и миролюбием он легко завоевывал себе общие симпатии.

Рядом с ним помещался Махович, маленький, рыжеватый варшавянин с быстрой-быстрой походкой и плутоватыми глазками. По профессии он сапожник, но давно уже промышляет воровством. Делал он это сознательно и обдуманно: он любил кутить с проститутками и играть в карты, а сапожничая много не наживешь. По целым дням Махович только то и делал, что расхаживал по камере, заводил споры и ссоры, а когда бывал а хорошем настроении, насвистывал краковяк и пускался в пляс, ухарски раз-

махивая одной рукой и мелко семеня закованными в кандалы ногами. Это бесшабашно-придирчивое и веселое настроение часто сменялось у него печальным и грустным. Для этого достаточно было, чтоб он посмотрел на свою правую руку, на которой весьма искусно был вытатуирован вензель с надписью: „Эмилия“,—так звали его покойную возлюбленную. В одну из интимных бесед со мною Махович поведал мне ее печальную историю: она была честная девушка, искренно его любила, помогала ему, когда он попадал в тюрьму, и незадолго до его последнего ареста умерла во время родов, заразившись от него сифилисом.

Чувство привязанности и раскаяния в отношении покойной Эмилии было, кажется, единственным благородным чувством, на какое Махович был еще способен. Во всем остальном это был материалист самого будничного направления. Так, увидев у меня толстый словарь и узнав, что он стоит восемь рублей, Махович не мог удержаться от восклицания:

— Восемь рублей!!... Пся крев!.. Сколько баранок и колбасы можно купить на эти деньги!.. Восемь рублей!..

По своему характеру на Архипова походил рабочий Алексеев, синеглазый блондин, который вместе с его соседом по койке Гавриловым привлекался по делу социал-демократической военной организации (процесс инженера Малоземова и нескольких военных врачей). Флегматичный и тяжелый на подъем, Алексеев, хотя и примыкал ко всем тюремным протестам, но всегда оставался в тени, зато Гаврилов много месяцев томился в Шлиссельбургских карцерах, куда его сажали за отказ кричать при выходе начальства: „Здравия желаю, ваше высокоблагородие!“

Еще в арестантском вагоне меня заинтересовал социал-революционер из семинаристов, Предьяков, невысокий, склонный к округлению и похожий на провинциального купчика. Вместе с Гоцем, Яковлевым и Павловым он получил каторгу за участие в покушении на полковника Римана—одного из усмирителей московского декабрьского восстания,—Предьяков играл тут роль извозчика. Очень простой и легко сходящийся на короткую ногу с разнокалиберной арестантской публикой, он не прочь был с уголовными и в карты поиграть и по матушке ругнуться. Отвлеченных вопросов, разных там социологий и философий Предьяков органически не выносил, книг на подобные темы не любил и в руки брать, а если, бывало, услы-

шит в камере разговор на какую-нибудь теоретическую тему, то сейчас же иронически зафыркает, перемигнется с кем-нибудь, махнет рукою и уйдет в сторону.

Самую лучшую койку в нашей камере — недалеко от окна и подальше от парашки—занимал высокий и здоровенный латыш Шмаузен, бывший народный учитель, поступивший потом в железнодорожные чиновники. За участие в Туккумском восстании он получил четыре года каторги. Но если прибалтийский военный суд, имевший своим председателем генерала Кошелева, дал ему вместо обычной бессрочной каторги такой маленький срок, то это значит, что другой суд, в другое время и в другом месте, не только освободил бы его, но и извинился бы за причиненное беспокойство.

Шмаузен считает себя социал-демократом, но ничего не имеет и против социал-революционеров, готов голосовать и за кадетов, а на худой конец и за приличного октябриста.

— Лишь бы партия за прогресс стояла... Ведь лучше что-нибудь, чем ничего,—аргументировал он.

Деловитый и уравновешенный, Шмаузен всегда предпочитал жить с тюремным начальством в ладу, но никогда не отказывался от арестантских выступлений, понимая, что общественное мнение много значит в тюрьме. К арестантской мелкоте, особенно к уголовным из случайных преступников, он относился с брезгливостью и презрением. Удивительно еще умение Шмаузена распоряжаться своими чувствами. На воле у него осталась невеста, на которой он непременно женился бы, не попади он на каторгу. Но ведь неизвестно еще, что с ним будет впоследствии, поэтому он в один прием покончил со всеми своими любовными эмоциями, без всяких терзаний, без борьбы и колебаний ликвидировал свои прежние отношения и даже прекратил с невестой переписку.

— Ничего-о!—говаривал он,—она немного погорюет—известно: баба!—и найдет себе другого мужа... Ну, а я—я тоже не останусь в Сибири без жены...

Коротко и просто.

По одному делу с Шмаузеном и на один с ним срок осужден был его земляк, молоденький Лурвинь, круглый и толстый юноша с водянисто-голубыми глазами. Склад мышления, жизненные привычки, все его симпатии и антипатии что ни на есть типично мелкобуржуазные, так и

отдает от них бытом зажиточного прибалтийского фермера, но это нисколько не мешает Лурвиню „становиться на точку зрения революционного пролетариата“. На мой вопрос: какой он партии?—Лурвинь ответил:

— Эс-дек... И, *конечно*, ле-вый эс-дек...

— Большевик?—переспросил я, улыбнувшись той гордости и значительности, с какой этот умеренный и аккуратный всегда и во всем юноша произнес слово: „*конечно*“.

— Ну да!—подтвердил он.—У нас все эс-деки—большевики.

Рядом с моей была койка социал-революционера Камнева, получившего десять лет по делу о покушении на взрыв охранного отделения. В деле участвовало также два старых охранника, начитавшихся по долгу службы социалистической литературы и вполне искренно сочувствовавших революционерам. Взрыв предстоял грандиозный, но в последнюю минуту сказалось влияние провокации. Сам Камнев—человек несколько эксцентричный, с несомненно маниакальными наклонностями. По специальности он электротехник и обладает недюжинными изобретательскими способностями.

В камере нашей сидело еще несколько человек, осужденных кто за грабежи, кто за поджог, кто за изготовление фальшивых рублевок, один был даже за изнасилование собственной сестры. Однако не успел я еще поближе познакомиться и сойтись с ними, как у нас в тюрьме пошла волынка, которая и закончилась раскассированием всей нашей публики.

* *

Первое столкновение началось у нас еще в день приемки. Каждый из нас, тщательно обысканный и осмотренный (надзиратели заставляли даже раздеться донага и нагибаться), подходил с тючком казенных вещей к принимавшему этап белобрысому помощнику, который сверял физиономию арестанта с имеющимися в деле фотографическими карточками. Задавая обычные вопросы, помощник этот обращался с нами на „ты“.

— Пожалуйста, повежливее!—огрызнулись мы, привыкшие в Шлиссельбурге к несколько иному обращению.

— Что?!.. „Повежливее“?.. Этого-того...—недоумевающе возражал помощник Меркурьев,—а ты забыл, что ты арестант?..

Утром, когда началась раздача кипятку, мы узнаем, что

принесенные нами с собою чайники, стаканы, зубные щетки, расчески, а также и мыло останутся в цейхгаузе и не будут нам выданы на руки.

— Почему так?—удивляемся мы.

— А потому, что по уставу каторжанам иметь частную собственность не полагается,—ответили нам. При этом в камеру внесли большой медный чайник и десятка полтора медных кружек. Когда пьешь из них—обжигаешь себе губы, если кипяток горячий, не то жди, пока он остынет; к тому же, чтоб кружки не ржавели и не зеленели, их надо после каждого употребления чистить кирпичом.

— Но как же без мыла обойтись?—спрашиваем мы.

— А вот, когда в баню пойдете, вам и казенное мыло выдадут... своего мыла не полагается.

Баня здесь бывает один раз в десять дней, а с этапа мы пришли грязные, запыленные...

— Ну, и централ!—ахали мы.

Ждем обеда. Приносят постную бурду. Ужин еще хуже. День был скоромный. Справляемся, в чем дело,—оказывается, что в виду поста мы в течение всего июля месяца будем сидеть на такой пище. Мы начинаем роптать: в других централах большие посты или совсем не соблюдаются, или же постная пища выдается с промежутками в одну-две недели; здешний же порядок тем более неуместен, что среди которжан много латышей и поляков, для которых соблюдение православных обрядов вовсе не обязательно. Тут же узнаем еще, что выписка на собственные деньги тоже будет исключительно постная: в течение всего месяца в тюрьму не будут пропускаться ни сало, ни колбаса, ни масло; из съестного можно будет покупать одни лишь селедки да воблу. Это еще больше всех озлобило. Стали рядить да обсуждать, как-быть дальше. Происходило это летом 1909 г.

Снестись посредством записок и перестукивания с другими камерами, выработать общие требования и наметить план действия—было не трудно. Началось с экстренного и массового вызова начальника. В тот же день он явился к нам в сопровождении второго своего помощника, Андреева. Подполковник Татаров был высокий, плотный, с мясистым лицом старик. Дав ближайшему арестанту подержать свою шашку, которую он всегда носил в руках, и вытирая платком свое золотое пенснэ, Татаров начал тихим, добродушным голосом:

— Ну, господа, что ж... читал я ваши требования... Конечно, там много справедливого, что и говорить!.. Даю вам слово: все, что смогу, — сделаю... Книги, переписка, свидания, снятие кандалов, скидка со сроку,—во всем этом я стеснять вас не буду... Не хотите, чтоб надзиратель кричал „смирно", когда я вхожу,—ну и не надо... Увеличить прогулку?—и это сделаю... Что же до постной пищи, то, ей-Богу, я сам хлопотал, чтоб ее отменили... писал и в Петербург: не отменяют!.. Что поделаешь!.. То же и с выпиской на собственные деньги: мясного и молочного нельзя!.. То же и со стаканами и мылом: не могу разрешить! Пишите прошения. Я поддержу.

Еще раз просмотрев по бумажке перечень наших требований, Татаров шумно вздохнул, поднялся со стула, сказал: „Так-с, значит, господа"—и вышел.

Едва за ним закрылась дверь, у нас сейчас же пошла критика и передразнивание его слов, копирование его манер и жестов. Глотилин и Петушенко, при одобрительных репликах большинства, решили, что в словах Татарова нет ни слова правды, что он нам очки втирает, облутошить и обмишулить хочет, что, как и все начальники, он сволочь, и т. д. Решено было постной пищи не принимать. К такому же решению пришли и остальные камеры. Приносят обед и ужин—мы их и в камеру не берем даже. Еще хорошо, что хлеб здесь был на редкость хороший, не будь этого—пришлось бы совсем плохо.

Дня через два приехал советник губернского правления, заведывавший тюрьмами,—инспекции тогда у нас еще не было. Это был паралитик, весь высохший, с темным закопченным лицом, впалыми щеками и болезненно сверкающими злыми глазами. Ходил он на костылях, а один из надзирателей всюду носил за ним стул. Нас уверяли, что он-то и был главным вдохновителем всех этих вздорных распоряжений. От него же, между прочим, исходило и приказание не выдавать лекарств в камеры: каждый день в корпус приходил фельдшер с целым ящиком медикаментов, вызывал в коридор больных, и если кому нужно было, то тут же на месте давал выпить микстуру, пользуясь для этого единственным продолговатым стаканчиком. С некоторыми из арестантов советник объяснялся лично. Уговаривал, ворчал, грозил—ничто не помогало. Мы продолжали вести прежнюю линию.

Как раз в это время наш централ посетил врачебный

инспектор главного тюремного управления, объезжавший ряд тюрем с целью ревизии их санитарного состояния. В сопровождении целой свиты зашел он и к нам в камеру.

— Ну как, господа: клопики есть? — начал он с места в карьер веселым голосом, слегка улыбаясь своими молодыми черными глазами.

— Есть-то есть, но дело не в клопах, а вот в чем,— начали мы рассказывать ему о нашем житье-бытье.—Почему нас морят постной пищей?.. Мы не святые и вовсе не намерены спасаться!.. На каком основании нам не выдают собственных стаканов?.. Где это видано, чтоб каторжанам запрещено было выписывать мыло?..—вопрошали мы с негодованием.

— Слышал, слышал, господа!.. Но все это—особ-статья!— ответил нам врач-ревизор.—Значит, клопиков нет?!. Ну и хорошо!

Посетил он, разумеется, и больницу. То, что палаты были совершенно переполнены; что ночью больных в клозет не выпускали, а заставляли пользоваться насквозь провонявшей чугунной парашкой, которая вносилась в палату же; что тяжко больных, особенно чахоточных, даже и тех, кто находился в последних стадиях болезни, не расковывали, и они так и умирали в кандалах,—это и многое другое его мало интересовало. И если он, не стесняясь больных, сделал строгий выговор нашему доктору и фельдшеру, то и было за что! Дело в том, что больничные койки не были снабжены жестяными табличками, на которых обыкновенно отмечается род болезни, температура, фамилия больного и т. п.

— Не зная температуры больного,—пояснил врачебный инспектор причину своего гнева,—я не знаю, может ли он вставать, когда я вхожу...

На следующий день он устроил совещание с начальником и советником относительно предъявленных нами требований. В контору же вызвали по одному делегату от каждой камеры. Первым делом он обратился к нам с маленькой речью, в которой вполне убедительно доказал, что с гигиенической точки зрения разнообразие в питании в высшей степени полезно для организма, что в постной пище много необходимых веществ, так рыба (кстати: по пятницам и средам нам давали суп с разваренными хвостиками от маленьких снетков) содержит много фосфору, а в горохе много белковины..

— Мой совет, господа,—закончил он,—примите пищу, а насчет всего остального последует особое распоряжение... стаканы и мыло вам выдадут... Затем, я скоро вернусь в столицу и постараюсь отстоять ваши интересы...

Мы ушли от него с обещанием подумать. Между тем в камерах, где нас поджидали с нетерпением и встретили с шумными вопросами и восклицаниями, настроение было гораздо более боевое. О примирении никто и слышать не хотел. Решено было от постной пищи попрежнему отказываться, но в то же время воздерживаться от всего, что могло бы повлечь репрессии. Однако неопределенность положения, в каком мы находились, вскоре стала тяготить нас, бездействие стало порядком нервировать. Начали поговаривать о чем-нибудь более решительном, о чем-нибудь таком, что заставило бы начальство пойти на уступки.

— Надо выйти из повиновения! — кричал Глотилин.— Тоже революционеры, так и так их мать! — возмущался он выжидательной позицией, которую отстаивали многие политические.

Но вот в соседней с нами камере запели „Марсельезу“. Наши немедленно раскрыли окна и тоже запели, третья камера тоже не отстала, а когда звуки гимна дошли до бессрочных, они тотчас же стали громко подтягивать:

Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..

Надзиратели всполошились. Прибежали помощники, начальник, но, едва он затеял переговоры с нашими соседями, как с противоположной стороны грянуло:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой;
Братский союз и свобода,-
Вот наш девиз боевой!..

Татаров, в тюремной практике которого никогда еще не было подобных происшествий, не на шутку перепугался. Он немедленно протелефонировал обо всем губернскому советнику, тот сейчас же изложил дело губернатору в таком виде, что последний распорядился ввести в тюрьму солдат для усмирения бунта. Волнение и арестантов и начальства еще более усилилось после следующего происшествия. У окна одной из камер стоял молоденький каторжанин Богданов и громко распевал „Марсельезу“. Надзиратель, расхаживавший по двору, несколько раз приказывал отойти от окна, но вошедший в азарт Богданов, па-

рень строптивый и неугомонный, только обругал его. В это время мимо окон проходил старший помощник Меркурьев.

— Что же молчишь!—закричал он на надзирателя.— Этого-того... стреляй!

Тот выстрелил. К счастью, Богданов успел нагнуться, и пуля попала в потолок; прозевай Богданов один момент, он упал бы замертво. Случай этот еще больше распалил публику. Пение революционных песен и громкие выкрики, в роде: „Палачи!.. Убийцы!“ *) не прекращались до тех пор, пока из коридора не долетела команда пришедшего с солдатами офицера.

— В чем дело, молодцы?—спросил нас офицер, подойдя к нам вплотную и осторожно подмигнув нам сочувственно одним глазом. Мы стали наперерыв рассказывать ему, а кронштадтский матрос Ватажников, молчаливый и угрюмый человек, любивший по временам принимать эффектные позы, обнажил грудь и, наседая на опешившего офицера, стал кричать:

— Нате!.. Стреляйте, драконы!.. Колите! Мы не боимся! Нас тут и так с голоду уморят!..

— Ну, нечего растабарывать! — прервал его подошедший начальник.—Выходи по одному в коридор. Что столпились, как бараны!.. Взять их!

В камеру вошло человек десять надзирателей и принялись таскать нас вон из нашего помещения. Под конвоем солдат, глядевших на нас хмуро и озлобленно, нас отвели в одиночный корпус, далеко еще не законченный ремонтом. Рассадили нас по два человека, при чем я попал в одну камеру с Шмаузеном. Все мы попрежнему продолжали отказываться от обеда и ужина.

На прогулку нас не выпускали, и ничего нет удивительного, что с утра до вечера у нас стоял невообразимый шум и грохот: начались громкие перекрикивания из камеры в камеру, распевания песен; кто барабанит в дверь, кто гогочет или ржет, кто мяукает или лает. К этой невыносимой и ушираздирательной какофонии присоединился еще, шутки ради, и сам надзиратель, замечательно ловко блеявший по-овечьи: мэ-э... мэ-э-э...

Сидевший со мною Шмаузен неодобрительно покачивал

---

*) Стрелявший надзиратель потом извинялся пред арестантами, просил прощения за свой поступок. Действительно, он оказался добрым человеком и впоследствии был уволен за то, что передавал из камеры в камеру записки, доставил карцерному табак и т. п.

головой: такой образ действий политиков казался ему слишком уж несолидным. Как неисправимый примиренец, он, вообще, был против подобных выступлений. Это меня удивило, тем более, что в общей камере он, наоборот, стоял за немедленный и наивозможно более шумный протест, а во время пения „Марсельезы“ громче всех выводил припев этого гимна. Это противоречие он объяснял следующим образом: по его наблюдениям, чем дольше затягивается арестантская волынка, тем больше осложнений можно ожидать в дальнейшем. Поэтому, чтоб отделаться дешевле, надо поскорее разрядить накопившееся раздражение, и при этом так, чтоб самому не выделяться в глазах начальства.

На положении полунаказанных мы находились ровно семь суток. За это время лишь один из нас попал в темный карцер, зато другой—матрос Ватажников—был выпорот розгами: на вечерней поверке, когда старший Глушицкий стал осматривать его кандалы, Ватажников нарочно сел на корточки; старший хотел-было приподнять его с пола и сделал это, разумеется, не особенно деликатно,—возмущенный Ватажников тут же закатил ему пощечину.

От всех этих передряг, треволнений, полуголодного прозябания я заболел и был переведен в больницу. Представляла она собою небольшое деревянное здание, наверху—цейхгауз и аптека, а внизу—палаты и кухня. В палатах ужасная духота и теснота,—первое, впрочем, больше по вине самих арестантов, с которыми приходится воевать из-за форточек и окон: накурят и надымят вонючей махоркой и боятся—летом!—открыть окна. Умывались все в маленькой комнатке прямо над жестяной ванной, над той самой, в которой купаются больные, в том числе и заразные... Пища—очень хорошая, зато само лечение было обставлено из рук вон плохо. Всей больницей заведывал фельдшер, человек недурной, но к больным арестантам относившийся невнимательно, считая всех их поголовно симулянтами. Пример в этом показывал ему доктор, седой старик, от которого всегда пахло водкой. В больницу он являлся раз в неделю, и если его обыкновенно инфракрасный нос принимал ультра-фиолетовый оттенок, то это означало, что наш, в сущности, весьма к нам доброжелательный эскулап порядочно заложил сегодня за галстук. В такие дни он первым делом отправлял назад в корпус тех, кого он считал выздоровевшим, точнее—всех тех, кто

попадался ему на глаза. Поэтому выходило так, что иной здоровенный парень, если не симулянт, то страдавший чем-нибудь легким и второстепенным, оставался в больнице, а какой-нибудь истощенный и малокровный, а то и форменный туберкулезный, отсылался назад в общую камеру.

Одиночные камеры совсем недавно перестроены были из мастерских и занимают весь нижний этаж небольшого кирпичного здания. Всюду сырость и полумрак, по стенам струится вода, по деревянному полу ползают мокрицы. Окно высоко отстоит от земли, а форточек совсем нет: чтоб освежить воздух, приходится—даже зимой—открывать всю половину окна. Камера, в которую я попал, выходила окнами на болотистое место, неподалеку от которого рос маленький лесок, так что солнца почти никогда не увидишь.

Меблировка одиночки более чем убога. Столик и скамейка сделаны из тонкого железа, а покрашены они до того скверно, что от сырости краска совсем слезла и весь столик покрыт довольно толстым слоем ржавчины. В каждой одиночке помещалось у нас по два-три, а то и по четыре человека, из которых только один спал на койке, а остальные—прямо на полу. Ко всему этому, при выходе из одиночного корпуса устроена была центральная выгребная яма, при чем нечистоты освобождались не насосами, а ведрами, привязанными к длинной оглобле, на другом конце которой привешивался огромный камень. Во время чистки ямы поднимались невероятный смрад и вонь. Этакое гигиеническое устройство наших одиночек тем более удивительно, что перестроены они были пред самым нашим приходом, следовательно ссылаться на старинную архитектуру не приходится. Одно из двух,—или ассигновка была в данном случае слишком мала, или же карманы и аппетиты у подрядчика и начальства были слишком велики. Но и в том и в другом случае страдательным лицом является наш брат-каторжанин.

Одиночный корпус скоро заполнился. Спрос на одиночки всегда большой, и многим приходилось ждать целые месяцы в положении кандидатов. Кроме группы бессрочных, пришедших с нами из Шлиссельбурга, туда перебралась часть политических из общей камеры, не поладивших между собою на почве мелких дрязг и смешных в глазах вольного человека недоразумений.

Хотя после первого же знакомства с начальником наши

многоопытные „обратники“ решили, что он просто прохвост и сволочь, но на самом деле подполковник Татаров был человек добрый, мягкосердечный, простой, правда, также и бесхарактерный и слабовольный. Надзиратели тоже были простые и незлобивые, в худшем случае—патриархально-грубоватые, в них незаметно было того хулиганского подчеркивания своей власти, того наглого и тупого самодурства, которым отличаются надзиратели других тюрем.

О старшем помощнике начальника Меркурьеве, которого все ненавидели за его враждебное и злобное к нам отношение, я говорю подробнее в другом месте. Совсем в другом роде был второй помощник, П. В. Андреев, заведывавший у нас так называемой полицейской частью. Когда-то он учился в реальном училище, дома у него была сносная библиотечка, себя он считал либералом. На этом основании он пропускал нам книги даже явно-крамольного содержания, свежие №№ журналов, разрешал вести переписку не только с ближайшими и законными родственниками, но с кем угодно. Он же взял на себя посредничество по доставке книг из городской библиотеки, покупал для нас целые ассортименты иллюстрированных открыток и т. д. При нем можно было вести регулярную переписку даже с арестантами из других камер: записки открыто передавались ему во время поверки, он их просматривал, штемпелевал, а отделенный Шелашов разносил их адресатам. По настоянию Андреева, Татаров разрешал каторжанам разных корпусов и камер свидания между собою, а на Пасхе и Рождестве можно было ходить друг к другу в гости и проводить время вместе от поверки до поверки.

Был у нас и третий помощник, как говорили, граф по происхождению. Молодой, с тонкой талией, девичьим профилем,—он был прозван арестантами „курсисткой“. У нас он заведывал кухней. Глупый и ограниченный, он был еще до крайности высокомерен и даже не козырял в ответ надзирателям, когда они становились во фронт, отдавая ему честь. Впоследствии этот бездарный, малообразованный и недалекий богач оставил попечение об арестантской баланде и, в качестве земского начальника, принялся просвещать и благодетельствовать страшно нуждающихся в его попечении крестьян.

Из лиц, прикосновенных к начальству, заслуживают пару слов наши священник и дьякон. Отец Н. Сумароков, худенький старичок, был человек сердечный, искренний и

приятный в обращении. Когда он, бывало, заходил к арестантам в камеры, надзиратели целовали ему руку, но в то же время следили, чтоб он не сказал или не передал арестанту чего-либо такого, что „не полагается“. Такова уж особенность наших тюремных порядков, что хорошее с гнусным как-то мирно уживается рядом. Что же касается о. Сумарокова, то такое ничем не прикрываемое шпионство было тем более неуместно, что, при всем своем мягкосердечии, он никогда и ни за что не решался на какие-нибудь нелегальные услуги.

Не таков был наш дьякон, высокий, толстый, с широким румяным лицом, бородатый и всегда одетый в зеленую ряску с цветным, из ковровой материи, поясом. По простоте душевной он приносил нам газеты и отправлял на волю письма. Делал он это совершенно безвозмездно, пока его не выдал церковный служитель из арестантов же. Меркурьев, получив донос, призвал к себе дьякона, обещал ему соблюдение тайны и выманил несколько писем, только-что переданных ему. В результате дьякон был немедленно уволен со службы (он занимал также пост писаря) и предан суду.

В общем, при Татарове у нас жилось недурно. Обед и ужин, хотя и весьма безвкусны, но зато весьма обильны; хлеб, составляющий главную часть арестантского пайка, большею частью на редкость хороший. На собственные деньги можно было (правда, в одном лишь одиночном корпусе) получать каждый день молоко и больничный обед. Выписка продуктов из лавки была почти неограниченная, что, кстати, очень нравилось нашим поставщикам, которые, часто меняясь, наперерыв предлагали кому следует все бо́льшую и бо́льшую взятку. Посылки с воли и передачи можно было получить сколько угодно и от кого угодно, хотя инструкция главного тюремного управления строго воспрещает это. То же было и с чернилами, которые одно время можно было иметь в одиночках. Чтоб облегчить положение бессрочных, особенно политических, Татаров разрешил им снимать ручные кандалы во время оправки, писания писем и уборки камер, а в первое время, под фиктивным предлогом шитья наволочек, наши вечники весь день вплоть до вечерней поверки находились без наручней. В карцер Татаров сажал мало и редко, к розгам почти не прибегал.

И если кто досаждал нам, так это советник губернского

правления, заведывавший тюрьмами. Когда начальник представлял к расковке каторжанина, то достаточно было хотя бы однократного сидения в карцере, чтоб такое ходатайство оставалось неудовлетворенным. Этим только и объясняется, что в Вологде многие и многие каторжане, несмотря на истечение законного срока, целыми годами носили ножные кандалы, а иные (например, Д. Вайнштейн) так и ушел на поселение, ни разу не будучи раскован. Между тем, как даже в такой тюрьме, как псковская, в которой свирепствовал печальной памяти „Петрушка“ (полковник Петр Черлениовский), арестанты расковывались в день истечения кандального срока.

Точно также, по наущению губернского правления, у нас заведен такой порядок, что, откуда бы арестант ни возвращался в камеру: с прогулки ли, из церкви, или из конторы, его обязательно обыскивали. А после того как каторжанин из солдат Неронов пытался зарезать помощника Меркурьева *), всех нас стали тщательно обыскивать также и по выходе из камеры.

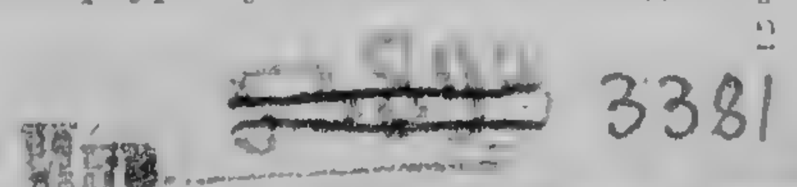
* * *

В начале 1910 г. Татаров переведен был куда-то на юг, а на его место, после долгой и упорной конкуренции среди целого ряда претендентов на тепленькое казенное местечко, назначен был ставленник вологодского губернатора, уездный исправник Воронец. В виду его совершенного незнакомства с тюремным делом, ему дали продолжительную командировку в Петербург, Москву и Шлиссельбург, где он на практике изучал порядки управления каторжанами.

Огромнейшего роста, невероятной толщины, с колоссальным, свисающим в виде полушария животом, с большой, коротко и под машинку остриженной головой, Воронец удивительно напоминал тургеневского Харлова из „Степного короля Лира“. Только, в отличие от громового и оглушительного голоса этого толстяка, Воронец обладал тоненьким девичьим дискантом. Своими круглыми навыкате глазами, резким голосом, грубоватыми манерами, он производил впечатление человека угрюмого и злорадного, но в сущности это был кроткий добряк, только испорченный поли-

*) Неронов был толстовец по убеждениям, осужденный за участие в выборгском восстании. Когда на него пал жребий убить Меркурьева, он принял яд и пошел в контору сделать свое дело, но в последний момент отдал Меркурьеву нож и в тот же день умер.





цейской службой. Набравшись духу в тех централах, которые он посетил, Воронец счел нужным напускать на себя холодность и суровость, стал чаще сажать в карцер и не на какую-нибудь неделю, а на целый месяц, завел внезапные обыски, во всем подтягивал не только арестантов, но и надзирателей. В своем рвении он дошел даже до того, что приказал, на ряду с приходящими на дежурство надзирателями, обыскивать и тюремного священника, но от о. Сумарокова получил решительный отпор. Своими притеснениями Воронец многих (например, двух бессрочных социал-революционеров Ушакова и Храмова, о которых рассказывает г-жа Воронова в своей дурно пахнущей книжке: „Люди—братья. Из жизни арестантов“) загнал в чахотку и в могилу.

Зато он был большой любитель словесности и живописи. Как любитель словесности, он стал сочинять циркуляры, которые расклеивались по всем коридорам и камерам; в одном из них он, например, под угрозой карцера запрещал записывать в тетрадях „революционные и порнографические песни“, делать надписи на иностранных языках и т. п. А в качестве любителя искусства, Воронец набрал человек семь маляров, специально освободил ради них несколько одиночек, которые так нужны были неврастеникам и другим больным, и устроил нечто в роде художественного ателье. Тароватый помощник Андреев набирал, где только мог, подходящие открытки с видами, и с них-то наши искусники срисовывали копии масляными красками. По заказу Воронца они—разумеется, на казенный счет—изготовили штук 50 деревянных икон, которыми заполнили стены всех помещений конторы, при чем святые отцы походили на настоящих злодеев с вытаращенными глазами, а великомученицы казались уродами с четырехугольными лицами самых невероятных колеров.

Как человек с изысканным вкусом, наш начальник никак не мог примириться с слишком уж неэстетическим видом арестантов, работавших на кухне. По его приказанию, все они были одеты в белые фартуки и в белые, высокие и треугольные колпаки—к немалому конфузу этих пожилых мужиков и к потехе остальных каторжан. Вот и толкуйте об отсутствии реформаторских талантов среди чинов тюремного ведомства!..

Режим при Воронце кое в чем, правда, ухудшился, но многое оставалось попрежнему: старшие и младшие надзи-

ратели по традиции относились к нам запросто, посылки и передачи продуктов с воли разрешались попрежнему, а прогулка была даже увеличена с 30 до 40 минут в сутки. Быть-может, впрочем, что нам жилось бы и хуже, не будь начальник столь много занят сочинением циркуляров и выращиванием тюремных Репиных и Левитанов.

Зато нам совсем круто стало, когда осенью 1910 г. главное тюремное управление учредило в Вологде тюремную инспекцию. Не знаю, была ли в этом серьезная и настоятельная надобность, или же оказалось нужным пристроить не в меру расплодившихся дипломированных кандидатов на вкусный казенный хлеб. Губернским тюремным инспектором назначен был А. Ефимов, переведенный из Харькова.

В нашей мирно и безмятежно протекавшей жизни прибытие его явилось целым событием и вызвало множество толков и предположений, тем более, что Ефимов был ученым юристом-специалистом и даже,—как говорили,—состоял раньше приват-доцентом. Суетливый помощник Андреев то и дело бегал к арестантам, сидевшим раньше в харьковских тюрьмах, и расспрашивал их про Ефимова. Узнав от кого-то, что новый инспектор „человек либеральный", он прискочил к нам в одиночку и поделился своими сведениями. Однако через несколько дней этот же „либеральный человек" уволил его со службы под тем предлогом, что он, Андреев, выдавал арестантам присылавшиеся им книги неодобрительного содержания. Сделал это Ефимов по доносу Меркурьева.

Вскоре пошли строгости. Надзиратели подтянулись, обращение сделалось грубым и вызывающим, на внешний, казарменно-холуйский этикет стали обращать сугубое внимание, прижимки стали распространяться и на такие мелочи, как запрещение выписывать гильзы, или запрещение держать в камере чай и сахар в кульках, приносимых поставщиком-лавочником, и т. п. В результате—карцера были постоянно переполнены наказанными. Больше того: узнав, что начальник наказал политического Ленина месячным карцером за то, что он толкнул надзирателя, Ефимов произнес:

— Жаль, жаль, что тебя не выпороли...—и в виде компенсации тут же прибавил ему новых 30 суток карцера.

При всем том мне сдается, что при другой политике главного тюремного управления, и этот же инспектор вел бы себя иначе. Но, верный паролю свыше: не распускай, жми, под-

тягивай, муштруй...—он и муштровал и подтягивал. Выразилось это, между прочим, и в эпидемии обысков, которые устраивались внезапно в разные сроки и с особыми предосторожностями. Вдруг, днем, а то неожиданно утром или поздно вечером в коридоре раздается чей-то таинственный шопот, слышатся заглушенные шаги, дверь мигом открывается, и на пороге вырисовывается фигура дежурного помощника. Моментально в камеру вваливается с полдюжины надзирателей, тебя раздевают чуть ли не догола, тщательно обыскивают и выводят в коридор. Дверь снова закрывается, и оставшиеся там начинают рыться в вещах, в книгах, заглядывать в парашку, во все закоулки. Минут через двадцать тебя впускают обратно, а там полнейший хаос и разгром, все разбросано, разворочено. Не было буквально ни одного случая, чтоб начальство нашло что-нибудь серьезно-предосудительное; чаще всего трофеями являлись кусок желтой клозетной бумаги, кулек из-под сахару, обыкновейшее перо и прочее в этом роде.

Вскоре инспектор принялся и за библиотеку, точнее— за собственные книги заключенных. Конфискованы были не только книги и брошюры по общественным вопросам, но и сочинения Геккеля, повести Горького, все до единого сборники „Знания", стихотворения П. Я., все, что у нас имелось из Короленко; из журналов он изъял не только старые №№ „Современного мира", „Русского богатства", но и миролюбовский „Журнал для всех" за девяностые годы. В крамольные произведения попали даже сочинения Л. Андреева и все альманахи „Шиповника". Во всем этом видна была какая-то озлобленность и мстительность, можно было подумать, что забракованные Ефимовым авторы были его личными врагами.

Тюремная библиотека сама по себе была довольно жалка в количественном и качественном отношениях: много лубочных романов в стиле сочинений Ксавье-де-Монтепена и много богословских брошюр и журналов, из которых не один десяток листов пошел на цыгарки для уголовных. Физической работы в то время в нашем централе было мало, занято было в мастерских не больше одной трети всего числа каторжан, спрос на хорошую книгу был огромный, даже со стороны уголовных,—а тут наш ученый юрист запретил еще пользоваться книгами друг друга. В самом деле, какое ему дело до того, что книга в тюрьме сокращает поводы к спорам, ссорам, дракам, игре в карты, даже

к столкновениям с начальством и тому подобным вещам, которые, казалось, не могут быть безразличны для тюремного инспектора.

Любопытно, что этот же Ефимов в это же самое время разрешил бывшему студенту Сигорскому („студенту“—ergo не плебею, и благородному) получать на свиданиях какие угодно книги из городской библиотеки, а другому студенту Пумпянскому, в котором он тоже не признал человека из черной кости, он предложил пользоваться его, инспектора, домашней библиотекой, в которой, действительно, было много ценных сочинений по вопросам юриспруденции. На первый раз сам Ефимов лично принес ему немецкую книгу фон-Листа.

Вскорости сам инспектор перестал являться к нам так часто. Непосредственно иметь с нами дело он предоставил своему помощнику. Это был человек лет под 50, маленький, полненький, с толстыми губами, всегда шикарно одетый и надушенный. До сих пор он к тюремному делу не имел никакого отношения и в помощники инспектора попал совсем из другого ведомства. Несмотря на свои годы, он был юрок и егозлив. Своими частыми и назойливыми посещениями (иногда даже поздно ночью) он возбудил к себе ненависть администрации еще больше, чем арестантов. Всюду он совался, подолгу останавливался на самых мелочах, поднимал скандал, если окажется, что кто-нибудь из заключенных израсходовал на выписку продуктов сумму, превышающую 4 р. 20 к.—официальная норма—в месяц. Сделав открытие в роде этого, он начнет громко пробирать и отчитывать помощника начальника, тот вытянется в струнку и заикающимся голосом старается оправдаться. Потом, как бы рикошетом, все эти придирки падают на наши головы.

Когда этот помощник инспектора являлся в тюрьму, то сам делал проверку арестантов; при этом, обходя выстроившуюся шеренгу, он тыкал пальцем в грудь и громко приговаривал; „раз, два, три“... Входя в камеру, он кричал: „здорово, арестанты!“; беседуя с политическими, демонстративно и с подчеркиваниями обращается к ним на „ты“, или вдруг начнет шпынять начальство по тому поводу, что пуговицы на арестантских бушлатах пришиты у кого на правой стороне, а у кого—на левой. Любил он во всем порядок. Напуганное Ефимовым и им начальство стало прижимать своих подчиненных, а надзиратели обрушиваются

на нас: бушлат должен быть застегнут на все пуговицы; лампу ставить на стол нельзя, после вечернего звонка читать книгу не полагается, в церкви надо молиться, а не перешептываться с соседом, разговаривая с начальством, надо становиться во фронт и при входе его кричать: „здравия желаю", на прогулке можно ходить только парами,—и так далее, и тому подобное.

Как это и подобает подобному администратору, он был свиреным юдофобом. Беседуя с каким-нибудь политическим и сердито гримасничая, если тот ответит ему не совсем холуйски и подобострастно, он неожиданно спросит:

— Гм!.. Не из евреев ли ты?—и если окажется, что тот принадлежит к племени, хотя и избранному богом, но не одобряемому черносотенцами, помощник инспектора сразу прерывает разговор, круто поворачивается к нему спиной и с ужимками и вприскочку поскорее удирает из камеры. Плетущаяся вслед за ним свита из начальника, его помощников, старших и отделенных, в недоумении пожимает плечами и чешет себе затылки.

Впрочем, справедливость требует сказать, что помощник Ефимова не всегда настроен был так серьезно и деловито. Часто он втягивался в шумные и крикливые, совершенно посторонние и едва ли уместные для его престижа разговоры и споры с каторжанами. Зайдет он, например, в певческую камеру и заставит пропеть ему пару церковных кантат. Услышав, что один арестант поет альтом, он недоуменно спрашивает:

— Взрослый детина,—а альт?!.. Разве может мужчина превратиться в женщину, а?.. Слыханое ли это дело?..

— В тюрьме может...—отвечает ему кто-то из уголовных, поняв его намек.

— Может, ты говоришь?.. А как, как это?.. Расскажи, голубчик, расскажи!—ввязывается он, к общему конфузу, в непристойную беседу. Глаза его сверкают, нижняя губа дрожит и оттопыривается, весь он трясется...

* * *

Как читатель, быть-может, помнит, еще в іюле 1909 г. у нас вспыхнуло волнение, главным образом из-за постной пищи. Дело кончилось призывом солдат, и все осталось по-старому. Во всех последующих постах всегда находились группы каторжан, которые в виде протеста не принимали постного. Однажды, кажется, в Филиппов пост, все

до единого арестанты (человек 500) отказались от обеда и ужина. Начальство всполошилось, поскакало с докладом к губернатору и вернулось с приказанием: не обращать внимания на протесты заключенных. Это очень расстраивало и озлобляло каторжан. Заходила даже речь о демонстративном массовом переходе из православия в лютеранство, лишь бы досадить нашему не в меру религиозному начальству.

Теперь предстоял рождественский пост. Как раз в это время работавшие в мастерских были завалены заказами в связи с устраивавшейся в городе выставкой. Человек 70—80 заранее решили, что, если и на этот раз обед будет постный, особенно, если он будет очень уж скверный, то всем отказаться от работы.

Так и случилось: как будто нарочно обед вышел отвратительным,—просто мутная водичка с разваренными снетками. Даже обратник Иванов, якшавшийся с начальством и всячески демонстрировавший свою покорность,—даже он выплеснул еду в помойную бочку и громко, на весь коридор, выругался:

— Порядочная свинья, и та не станет есть эту херовину!..

На другой день то же самое. Тогда человек 60 мастеровых отказались итти на работу, требуя, чтоб в течение предстоявших шести недель пища выдавалась не постная, а обыкновенная. 17 и 18 ноября они оставались в камерах. Приходил к ним начальник, уговаривал, но те не сдавались. Приезжал и инспектор, делал то же самое, но с таким же успехом. Тогда он 19 числа послал телеграмму в главное тюремное управление, изложил причину забастовки и просил указаний, как быть дальше. Казалось бы, чего проще: уравнять вологодский централ с другими каторжными тюрьмами, где постная пища выдавалась во время поста с промежутками в одну-две недели. Но помилуйте!.. Уступить каторжанам!.. Они, лишенные всех прав, дерзают еще бастовать!!.. Потакать крамольникам!!!.. И вот из Петербурга идет ответ от Хрулева: требования арестантов оставить без последствий, а забастовку подавить во что бы то ни стало.

Между тем к отказу от постной пищи присоединилось еще человек 75. Получив ответную телеграмму, Ефимов ходил с нею по всем камерам, давал ее читать каждому желающему, снова уговаривал принять обед, обещая разрешить скоромную выписку и посылки с мясными продук-

тами. Вступая с арестантами в беседы и споры, инспектор очень нервничал.

— Знайте, что у меня для вас пули припасены!—грозился он, распаляясь все больше и больше.

20 ноября на утренней поверке Меркурьев ходил по камерам со списком бастующих и тут же требовал от мастеровых немедленного выхода на работу. Видя, что успех начатой забастовки становится все более сомнительным, многие сдались и отправились в мастерские. Анархист Воротилов из 15-й камеры тоже было-собрался итти на работу. Когда он с чайником, хлебом и ложкой в руках вышел на коридор и увидел, что там никого нет, он хотел вернуться назад в камеру, но стоявший при этом Меркурьев приказал взять его силой. Надзиратели принялись тащить Воротилова и делали это, должно-быть, не совсем нежно. Воротилов, парень нервный и легко возбуждающийся, поднял крик:

— Товарищи!.. Бьют!.. Убивают!.. Товарищи!..

Услышав это, 17-я камера начала стучать в двери. Все были возбуждены и расстроены. Вслед за 17-й подняла стук 13-я камера, а за нею, словно желая как-нибудь разрядить накопившуюся злобу и недовольство, забарабанили в двери еще и 11-я и 12-я, а потом и 8-я камеры. Надзиратели струхнули и удрали кто куда, а Меркурьев выхватил револьвер и принялся фланировать по пустому коридору. Между тем стук прекратился. Но никто, решительно никто из начальства не поторопился объяснить запертым, измученным, взволнованным и ничего не знающим людям, что Воротилова никто не бил.

Тогда обструкция снова возобновилась. Стук передался со второго этажа на третий, где к протесту присоединились 1-я, 4-я и 5-я камеры. Стучали кулаками, били скамейками, да так основательно, что обитые железом двери оказались потом поврежденными, а в 12-й камере дверь отошла даже на несколько вершков и порог отлетел в сторону.

Разумеется, в тюрьму сейчас же прикатили инспектор и вице-губернатор—старик с розовым лицом, бритыми усами, удивительно похожий на гоголевских героев. Зашли они в восьмую камеру, наиболее отличившуюся в этой обструкции. Поговорив несколько минут, они вышли. На пороге вице-губернатор и говорит инспектору:

— Что же, делайте, как лучше...

Ефимов решил, что самое лучшее, что можно сделать с изголодавшимися и изнервничавшимися каторжанами, ожесточенными всем, что им пришлось пережить, и к тому же введенными в заблуждение криками Воротилова,—это выпороть их розгами... Не знаю, вычитал ли это наш ученый юрист из имевшихся у него сочинений Беккариа, Говарда, Фейербаха и фон-Листа, но факт тот, что в это же утро у нас началась экзекуция. Конечно, если бы элементарные по своей справедливости требования мастеровых были удовлетворены, или—на худой конец—если бы в самом начале обструкции администрация не струсила и растолковала арестантам, что кричал Воротилов больше оттого, что был возбужден и расстроен,—не было бы того, что было потом. Но ведь на то и начальство, чтоб карать, а не предупреждать...

В тюрьму приведены были стражники, надзирателей вооружили винтовками, потом прибыл офицер с полуротой солдат. По приказанию Ефимова раздобыли побольше розог, нагнали в баню целую кучу надзирателей, пригласили туда же доктора и фельдшера,—и пошло...

Заходит старший Глушицкий в одну камеру и, не объясняя, в чем дело, кричит:

— Выходи пять человек...

Стоявшие поближе к дверям выходят в коридор, оттуда их под усиленным конвоем ведут в предбанник, подвергают моментальному осмотру, насильно раздевают, полуголых раскладывают спиной вверх на козлы и начинают сечь. Выпоров эту пятерку, таким же конспиративным манером забирают другую, потом третью и т. д. При экзекуции обязательно присутствует кто-нибудь из помощников начальства. Пороли те же дежурные надзиратели, только меняясь по очереди. Больше всех усердствовали двое дядек. Из них Лопатин, невысокий, рябоватый мужик с серыми колючими глазами, хронический алкоголик, постоянно находившийся при конторе, состоял членом „союза русского народа“ и арестантов, особенно политических, ненавидел вполне искренно и глубоко. И раньше еще, когда надо было кого-нибудь пороть, функцию эту исполнял именно этот молчаливый и злобно настроенный Лопатин. На этот раз главным его помощником был Синюшин, молодой детина с толстыми румяными щеками, искривленным ртом и тупыми, ровно ничего не говорящими водянисто-голубыми глазами. На все и на всех он смотрел,

глуповато улыбаясь. К каторжанам он относился совершенно безразлично и даже позволял им маленькие вольности. Синюшин мог бы даже перевешать сотню людей, не отдавая себе в этом никакого отчета,—стоило бы только начальству распорядиться об этом.

Приговоренных к наказанию было человек 130—150. К чести доктора Баженова нужно сказать, что он хотя и присутствовал при экзекуции, но пользовался малейшим поводом, чтоб избавить арестантов от этого мучительного позора. В первый день выпорото было человек 60, а потом еще 20—30. Всех, признанных доктором больными, Ефимов велел посадить на месяц карцерного положения. В настоящих темных карцерах для всех их не хватило места, и часть наказанных разместили в особой камере и в одиночках, напихав по 5—6 человек в каждой...

На порку арестанты шли без всякого сопротивления. Сначала они вовсе не знали, куда и зачем их ведут, но даже потом, когда все выяснилось, они ложились под розги безропотно и покорно. И только один Виктор Ковалев, молодой гвардейский казак, осужденный вместе со студентом Сапотницким в связи с делом с.-д. фракции второй Думы, не пожелал дать себя сечь. Как только сидевших в околотке стали выводить в баню, Ковалев немедленно принял припасенный им яд—опиум, который имелся у некоторых каторжан. К доктору его привели в таком ужасном состоянии, что тот распорядился сейчас же отнести его в больницу

Однако самое возмутительное, самое вопиющее, даже самое гнусное во всей этой истории было то, *что пороли всех без разбору, и правых и виноватых.* Дело в том, что в каждой камере в обструкции участвовало лишь *ничтожное меньшинство* заключенных, между тем как наказаны были *все* находившиеся там. Так, например, в одиннадцатой камере в дверь стучало всего *два* арестанта, а к розгам приговорили всех *восемнадцать*... То же приблизительно происходило и в других камерах. Пороли и молодых и старых, и уголовных и политических, и рабочих и интеллигентов. Из числа невинно выпоротых припоминаю старика Феркеля, сосланного в каторгу за то, что в Екатеринославе у его квартиранта нашли тайную типографию,—поляка Вербу, человека лет за 45, осужденного по политическому делу, и несколько старых хохлов—гаварников со смешными фамилиями, в роде „Иван Мой-

корыто", „Кузьма-мальчик" и т. п. Среди невинно наказанных (а их было гораздо больше половины) был также и один дегенерат. Ростом с карлика, с огромной головой и миниатюрными детскими ножками, то тихий и молчаливый, как рыба, то свирепый и разъяренный, как зверь, с пеной у рта и отчаянными гримасами выражающий малейшее свое внутреннее чувство, он Бог весть какими судьбами угодил в каторгу за убийство. Уже одним своим внешним явно-патологическим видом он не мог не обратить на себя внимание. Но, должно-быть, вид крови и стоны истязуемых оглушили не только тюремную администрацию, но и тюремного доктора...

Впрочем, не менее оглушены были и сами арестанты, иначе не ложились бы под розги без объяснений и протестов те, которые не только сами не участвовали в обструкции, но *мешали в этом другим*... А молоденький анархист Крамарж, узнав, что выпороты его сопроцессник Вайтман и некоторые приятели, сам стал рваться под розги, хотя не был даже приговорен к ним. Доктор насилу удержал его от этого. Упомянутый выше старик Верба, должно-быть, совсем рехнулся: вернувшись после порки назад в камеру, он вдруг пустился в пляс, позванивая в такт своими ножными кандалами... Жутко!..

Из тех больных, которым розги заменены были месячным карцером, несколько человек в виде протеста не встало на утренней поверке. Меркурьев тотчас же распорядился выпороть их. Один из них, учитель Андрулайтис, ни за что не хотел ложиться добровольно, сопротивлялся, метался во все стороны, вступал в схватки с надзирателями, кусал им руки, несколько раз со стонами и криками вырывался, но в конце концов был укрощен. На него навалилась целая ватага остервенелых и распаленных его сопротивлением надзирателей, и если остальным давали по 30—50 розог, то Андулайтиса пороли без счету. На 75-м ударе он потерял сознание, но его еще долго истязали. Со скамейки его сняли совершенно истерзанного.

Камера, в которой находились певчие, весьма деятельно участвовала в обструкции. Регентом церковного хора был один с.-р. из народных учителей, там же сидели и максималист Кишкель, здоровенный ткач, человек смелый и отзывчивый, с.-д. Боровков, юнкер, осужденный по делу петербургской военной организации, и другие. Все они тоже ожидали порки, но начальник Воронец, записывая с Ефи-

мовым обструкционистов, сознательно минул певческую камеру: может-быть, оттого, что сочувствовал им, а может, оттого, что опасался каких-нибудь неприятных осложнений. Зато была целиком выпорота камера, которую посетил вице-губернатор. Анархист Шмидт, который так уже устроен, что не может не будировать и не протестовать, начал с ним объясняться, указывая, что начальство само виновато во всем происшедшем.

— Все равно... нечего рассуждать...—прервал его вице-губернатор.—Во время поста будет только постная пища... не заводить же отдельную кухню... Вы живете в православном государстве...

— Ну, тогда мы работать не будем!..—ответили ему хором православные обитатели этой камеры.

— Ах, так! Ну, тогда мы пороть будем!.. Пороть!.. Пороть!..

Неизвестно, относились ли слова вице-губернатора к будущему, говорил ли он вообще, так сказать, „принципиально“, или же имел в виду „текущий момент“. Но в таких делах начальство всегда предпочитает переусердствовать, чем недоусердствовать: воспользовавшись создавшейся „ситуацией“, оно и приказало выпороть всю камеру...

Подобный же инцидент разыгрался к 20-й камере. В обструкции она тоже не участвовала, только потребовала для объяснений губернатора. Вместо губернатора явился инспектор.

— Для чего вам губернатор?—спрашивает он.

— Жаловаться!..—отвечает ему анархист из социал-демократов, Пославский.

— Жаловаться?? На кого же?—удивляется Ефимов.

— На вас! На вас!—крикнул ему Пославский, все более возбуждаясь и волнуясь.—Подождите: отольются волку овечьи слезки...

Инспектор задрожал от негодования и закричал, обращаяся к начальнику:

— Выпороть... Выпороть их!..

Пославский, большой принципиалист, когда его отвели для экзекуции, не давал себя освидетельствовать; когда доктор спросил его, не болен ли он чем-нибудь, он ответил:

— С интеллигентом, помогающим палачам, разговаривать не желаю...

Все-таки странно, как это Баженов не освободил от на-

казания этого молодого студента, на вид такого бледного и истощенного.

От экзекуции уцелел одиночный корпус, совершенно изолированный от общего и находившийся в другом дворе. Тем не менее *вся тюрьма*, даже мужички ротские, работавшие на кухне и ни к каким протестам никогда не имевшие ни малейшего касательства,—вся тюрьма лишена была на месяц переписки и свиданий. Те же мастеровые, что участвовали в забастовке, если только они уже кончали свой кандальный срок, были закованы заново. Отношение к нам начальства тоже изменилось после этого, сделалось более грубым и придирчивым. Многим, которые участвовали в порке, было неловко и стыдно смотреть нам в глаза, но, по странному капризу, они все свое недовольство вымещали на нас, как будто мы виноваты в том, что нужда горькая да совесть гибкая заставили их делать гнусность.

* * *

Приблизительно в это время—в ноябре 1910 г.—в далекой и заброшенной Зерентуйской тюрьме произошло нечто подобное же: выпороты были политические Сломянский и Петров; в виде протеста Маслов, Одинцов и Пухальский порезали себе вены, а Михайлов, Кунай и Егор Сазонов отравились морфием. Это массовое покушение на самоубийство, совпавшее с Вологодской „историей“, не могло не обратить на себя внимания общества и печати. В газеты полетели корреспонденции, взволновалась учащаяся молодежь (в столице устроена была даже форменная демонстрация), в Государственную Думу внесен был запрос.

Высшие тюремные власти не могли не вмешаться. К нам в централ приехал помощник начальника главного тюремного управления М. Боровитинов,—красивый, статный мужчина лет под 40. Во время вечерней поверки он обходил камеры и подробно расспрашивал всех, пожелавших сделать ему заявления и указания. Учиненную Ефимовым порку он признал вполне законной и уместной, по поводу же невинно наказанных он не сказал ни слова, только недоуменно пожал плечами и перевел разговор на другую тему. Правда, он велел сейчас же освободить из карцера всех, кого доктор освободил от порки.

Следствием приезда к нам Боровитинова было назначе-

ние ревизии под руководством прокурора московской судебной палаты. По указанию нашего же начальства были вызваны в контору и допрошены некоторые из наказанных. Допрашивавший их товарищ прокурора ничуть не скрывал своего к ним враждебного отношения, был груб и заносчив, тыкал,—до тех пор, по крайней мере, пока социал-революционер Русаков резко не оборвал его, отказавшись дать показания, если он не будет вежлив. Должно-быть, высшее начальство имело в виду создать какое-нибудь дело и посадить на скамью подсудимых именно тех, кто пострадал от Ефимова. Однако не трудно было сообразить, что судебное разбирательство такого дела, хотя бы и при закрытых дверях, не могло быть в интересах самого же начальства.

Вся эта „ревизия" кончилась ничем. Положение каторжан еще более ухудшилось, инспектор и его помощник остались на месте, упрочив только свою репутацию энергичных администраторов. Для того же, чтоб успокоить так называемое „общественное мнение", был уволен с должности начальник тюрьмы Воронец, все время бывший против экзекуции и игравший только роль исполнителя приказаний Ефимова. Вслед за ним удален был и доктор Бажепов, который, хотя и присутствовал при порке, но определенно выразил свое к ней отвращение. Заменивший его доктор Шнейдер оказался человеком более „подходящим".

Вместо Воронца временным начальником назначен был Меркурьев, которого потом сменили другие администраторы. Большинство политических разослано было в другие централы, главным образом в ярославский. В числе шести человек, высланных в первую голову, был и я. В Вологде пошли новые порядки, но личным свидетелем происшедших перемен мне быть уже не пришлось, так как я в это время находился уже в псковской каторжной тюрьме.

Месяца через четыре по всей тюрьме с молниеносной быстротой распространилось известие: на Ефимова произведено покушение. В театре, во время представления, в него стреляла какая-то молодая девушка. Инспектор был тяжело ранен, таинственная же мстительница удачно скрылась.

## II.

## По этапу.

... Было это в январе 1911 г. Не успел я еще отдохнуть от десятидневного карцера, как меня неожиданно вызвали в контору и объявили, что сегодня же я пойду на этап. Стоявший при этом старший Глушицкий тут же заковал меня в ножные кандалы и велел приготовиться в путь-дорогу.

Я недоумевал, что бы все это значило. Но, вспомнив тактику главного тюремного управления, я сообразил, что это меня высылают в связи с бывшей у нас недавно „историей". И действительно, чтоб устранить дальнейшие трения между арестантами и начальством, главное тюремное управление расформировало почти всех политических из нашего вологодского централа. При этом шесть человек, по мнению администрации, наиболее опасных разослано было в первую голову по шести каторжным тюрьмам.

Вместе со мною шли: В. Шмидт, Хрулев, Паслов, Русаков и Воротилов.

Первый из них, смелый и неугомонный протестант, никогда ни с чем не мирившийся, часто выступал у нас с заявлениями и жалобами, раза два сидел в темном карцере (после этого он сидел в темном еще раз 20, в общем более 200 суток...), во время массовой экзекуции тоже был наказан,—все это и создало ему репутацию неисправимого смутьяна и крамольника.

Хрулев, кронштадтский артиллерист, осужденный на 20 лет каторги за участие в восстании 1906 г., был высокий, худощавый блондин, выходец из богатой семьи мещан-землевладельцев, человек малоразвитой и скромный. Характер

у него покладистый и уступчивый, вел он себя тихо и незаметно. С родными он порвал всякие сношения, сидел без всякой материальной поддержки и теперь кротко и бесшумно, ни на кого не сердясь и никого не проклиная, медленно угасал от схваченной им на каторге чахотки. Когда в день экзекуции начальство для чего-то нагрянуло с обыском в певческую камеру, в которой он находился, с Хрулевым сделался припадок: он набросился на помощника Меркурьева, затопал ногами и стал кричать на надзирателей, называя их палачами и злодеями. После этого он упал в глубокий обморок. Как ни строг и недальновиден был наш старший помощник, он все же распорядился отправить его не в карцер, а в больницу. После этого Хрулев попал в список агитаторов и теперь переводился в каторжное отделение при московских Бутырках.

Не больше вины лежало и на Иване Паслове, старом воре-рецидивисте, обрюзглом детине с большим оспенным лицом, толстыми, отвислыми губами и маленькими, серыми, смотрящими угрюмо и неприветливо глазами. Осужден он был на бессрочную каторгу за участие в убийстве и ограблении священника в Костроме. С нашим начальством он жил в ладу, и начальник Татаров, человек добрый и мягкосердечный, разрешил ему, бессрочному, работать вместе с другими в сапожной мастерской. Занимался он шитьем суконных туфель, и на этой почве у него часто происходили недоразумения со старшим надзирателем Волковым, угодливым, льстивым и вороватым индивидуумом интендантского типа. Паслов часто надоедал конторщикам и помощникам своими выкладками и требованиями квитанций. Когда же заведывание тюрьмой перешло на время к Меркурьеву, человеку глуповатому и сразу растерявшемуся от сознания своей власти, Паслову пришлось пострадать за свои надоедания. Вызвав его как-то в контору и поругавшись с ним, Меркурьев приказал Глушицкому выпороть его розгами, а чтоб избавить себя от возможных жалоб, он включил и Паслова в число „зачинщиков“; главное же тюремное управление, для которого донесения местных начальников —святая истина, распорядилось теперь перевести его в орловский централ. С нами Паслов шел в ножных и ручных кандалах.

Зато вполне „заслужил“ свою высылку Кузьма Русаков, высокий, с аристократической выправкой и важными манерами писарь генерального штаба. Вместе с Гуменским,

Картановой и другими социал-революционерами-террористами он был выдан пресловутым Рымшей и посажен в Петропавловскую крепость. Судился он по процессу Фельдмана и др. и был приговорен к 15 годам каторги: группа эта готовила покушение на военного министра Редигера.

Русаков недурно рисует красками, великолепный рассказчик и декламатор, и, как человек, хотя отчасти и страдающий манией величия, но в общем веселый и превосходный товарищ, пользовался большой популярностью среди арестантов всех категорий. Этому способствовало еще и то, что с начальством он всегда был в контрах и часто с ним перебранивался. Однажды, летом 1910 года, приехавшие из города жандармы сделали у него обыск: его подозревали в намерении бежать из одиночного корпуса. Затем, зимою, во время обструкции, которая и вызвала массовую порку, Русаков был одним из энергичнейших протестантов, за что и поплатился... Теперь он шел на исправление в ярославскую каторжную тюрьму.

Вместе с нами был и главный герой всей этой „истории" — Воротилов, высокий и плечистый хохол из Киева, конторщик по профессии, анархист-коммунист по убеждениям, осужденный в каторгу за экспроприацию. Когда, по приказанию инспектора Ефимова, надзиратели стали силой таскать каторжан, которые, впредь до замены постной пищи на скоромную, не желали итти на работу, кто-то из стражи схватил и Воротилова, и схватил, должно-быть, не очень-то деликатно. Нервный и возбужденный Воротилов закричал: „Товарищи, бьют",—что и послужило поводом к обструкции. Сам он, как больной, был освобожден доктором Баженовым от наказания розгами. Но потом Меркурьев *без всякого ближайшего повода* велел все-таки выпороть его. Послав про него соответствующий отзыв, Меркурьев добился перевода его из вологодского централа в смоленский.

Что касается меня, то, как находившийся в одиночке, я к обструкции не мог иметь отношения. Но за мной числились другие прегрешения: во-первых, в Вологду я пришел с плохими отзывами из Смоленска и Шлиссельбурга; во-вторых, у меня частенько бывали пререкания с Меркурьевым, который всегда уходил посрамленный; в-третьих, в руки начальства попали писанные моей рукой анкетный листок и корреспонденция,—ну, а статистиков и корреспондентов наши тюремные администра-

торы любят не больше и не меньше, чем любят их провинциальные городничие. Попав в категорию опасных агитаторов, я получил перевод в псковский централ, где владычествовал печальной памяти „Петрушка". Дурные аттестации, имевшиеся в наших статейных списках, не могли не отразиться на нашем положении в новых тюрьмах каждый раз, когда поднимался вопрос о снятии кандалов, о переводе в разряд исправляющихся и т. д.

Кроме нашей шестерки, в один с нами этап попало также несколько человек, которым заменили каторгу обычной сидкой. Всех нас отвели под конвоем в губернскую тюрьму.

* * *

Шмидта, Русакова и меня посадили в одну одиночку. Много тюрем я прошел и до и после этого, приходилось побывать и в разного типа одиночках, но такой отвратительной ямы я еще ни разу не встречал.

Находится эта камера в левом углу верхнего коридора. Двери в ней двойные, на расстоянии полутора аршин одна от другой. Пол цементный, весь изрытый и избитый. Стены грязные и потемневшие. Как раз против дверей прибита к стене толстая железная доска, а немного пониже с обеих сторон—две другие железные доски, поменьше и поуже,—это и есть стол с двумя скамейками. Возле дверей направо — маленькое и высокое от пола оконце с подслеповатыми и синевато-мутными стеклами. Все время—даже днем—в камере царит бледный сумрак. Дело было зимой, стояли большие морозы, но миниатюрная форточка никак не прикрывалась. Сквозь разбитые и неуклюже заплатанные стекла дул ветер. Под окном в камере висели длинные ледяные сосульки — когда топили, все это таяло, и тогда по стене змеились зеленоватые струйки воды, а на полу образовывалась грязная лужица.

Когда окончательно стемнело, к нам в камеру внесли малюсенькую лампочку с узеньким стеклом. Вставили ее в запирающийся на ключ и прибитый высоко к стене фонарь из густой проволочной сетки. Через эту-то плетеную сетку падал какой-то расплывчатый, серо-матовый и мертвенный свет, отражавшийся на полу и на стенах странно-причудливыми тенями и фигурами. Разобрать что-нибудь печатное трудно было даже вблизи фонаря, же-

лезный же столик находился в противоположном углу камеры.

Но что больше всего оскверняло вид нашего помещения, делало воздух нестерпимым и возмущало примитивнейшее чувство эстетики, — это парашка. Везде и всюду она бывает переносная, глиняная или жестяная. Здесь же она устроена на особом возвышении, к которому ведут две ступеньки; прямо под парашкой — выгребная яма... Этот ничем не огороженный и ничем не прикрытый, первобытно устроенный клозет, вместе со ступеньками занимающий значительную часть свободного пространства камеры, делал ее похожей скорее на дрянное отхожее место, чем на жилое помещение. Правда, предназначалось оно не для настоящих людей, а всего лишь для арестантов, но, ей-Богу, если строивший тюрьму архитектор не жарится теперь в аду на горячих угольях, если черти не кормят его раскаленными булыжниками и не поят кипящей смолой, то — нет на свете справедливости, нет возмездия за грехи против ближнего своего...

В камере нас было трое, но коек для спанья всего две и притом без каких бы то ни было постельных принадлежностей: ни мешка с соломой, ни подушки, ни одеяла. На наши просьбы об этом никто не обратил ни малейшего внимания. Пришлось устраиваться по-иному. Русаков, как самый длинный из нас, занял один целую койку, а я и Шмидт расположились на другой, свернувшись в клубок и держа головы врозь, а ноги к ногам. В камере стоял настоящий мороз, и нам пришлось напялить на себя этапные полушубки и халаты, а под голову подложить сумки с книгами и шапки с наушниками.

К нашему величайшему удовольствию, нас меньше чем через неделю перевели в местную пересыльную тюрьму, откуда уже мы пошли прямо на вокзал. В просторной, почти во всю ширину занятой деревянными нарами комнате, чистой и опрятной, нас распределили по маршрутам и стали по очереди вызывать идущих в Москву, Смоленск, Ярославль и Орел. Группа чахоточных и больных, затем Шмидт и я—шли на Петербург, откуда уже каждый из нас должен был уйти на место назначения.

Обыск прошел хорошо. Конвойный офицер, пожилой человек с интеллигентным лицом, как-то грустно на нас поглядывал. Вместо того, чтобы швырять вещами, выбрасывать всякую мелочь, придираться к пустякам и гру-

бить, — словом, вместо того, чтобы вести себя так, как вообще ведут себя конвойные, — они теперь говорили нам „вы“, обращались вежливо, а пересматривая вещи и книги и осматривая кандалы, делали это как-то демонстративно-небрежно: дескать, мы с офицером не такие, чтобы придираться к политическим и относиться к ним по-собачьи...

Все это нас тем более удивило, что обыкновенно даже хорошие конвойные в присутствии начальства грубят, орут и изощряются в усердии.

* * *

Из ехавших с нами каторжан латыш Балтин был интересен во многих отношениях. Выделялся он уже одной своей фигурой: высокий, крепкий, как дуб, с густыми, хотя и седыми волосами. Когда-то в молодости он был народным учителем, но потом занялся земледелием и мало-по-малу пошел в гору. Мельница и пашня приносят ему до 2 тысяч рублей чистого доходу; оба сына его учатся в гимназии.

Во время аграрной революции 1905 года Балтин, хотя и участвовал в тогдашних событиях, но, как человек солидный и уравновешенный, уговаривал повстанцев держаться мирного пути, не раздражать правительство чрезмерными требованиями, — вообще, он старался удержать своих земляков от того, что он называет эксцессами. Тем не менее, когда русское правительство, столь чувствительное к интересам немецких помещиков, наслало на латышских крестьян своих казаков и драгун, когда карательные экспедиции принялись за разрушение крестьянских усадеб и за массовые расстрелы, — в число опальных попал и Балтин. Его чуть-было не расстреляли на месте, и спасли его не столько показания крестьян, сколько предстательство кой-кого из местных баронов. Впоследствии, когда власти предали суду уцелевших повстанцев, Балтин был приговорен к повешению, замененному бессрочной каторгой. Подсудимых было более 80 человек, следствие отличалось тенденциозной поспешностью, необходимость устранить крамольников ни на минуту не упускалась из виду победителями, а входить в тонкости у военного суда не было возможности, — вот лойяльный Балтин и попал в бессрочные каторжники.

Если я не ошибаюсь, Балтин очень типичен для целой

категории латышей, встречавшихся мне на каторге на ряду с представителями другой категории,—людей отчаянных и смелых, забубенных головушек по темпераменту и коммунистов по житейским склонностям. К сожалению, в нашем именно этапе эта вторая категория почти не была представлена.

Балтин—человек умеренный, трезвенный и инстинктивно ненавидит все, что напоминает широкие горизонты и перспективы. Люди ему подобные всегда предпочитают держаться задач и возможностей лишь сегодняшнего дня и часа. Балтин культурен и развит и хотя, правда, как-то сухо и пресно, но все же сознает свою честь и достоинство. Однако это не мешает ему быть покладистым и гнуться перед тем, кого он должен бояться или кого он может использовать. Зато по отношению к тому, кто для него безразличен в смысле утилитарном, или кого он считает ниже себя стоящим по имущественному положению или по умственному уровню, Балтин сух и черств, и в лучшем случае пренебрежительно вежлив.

Находясь у нас в Вологде в общей камере, он добился перевода в одиночку, не желая, чтобы начальство смешивало его с беспокойной молодежью, с разными там социалистами и анархистами. И хотя начальство тогда именно этого еще не требовало, он, человек интеллигентный и уже в летах, по собственному почину становился перед ним по-солдатски, кричал: „здравия желаю, ваше высокоблагородие“, и вообще проявлял сугубую почтительность. На моем статистическом листке Балтин отметил себя „трудовиком“, но навряд ли он левее октябриста...

Удивительны энергия и практицизм этого человека: имея пред собою каторгу без срока, он все-таки надеялся, что, когда-нибудь, со временем, снизу ли, сверху ли, но он авось получит амнистию и очутится в Сибири на поселении. Тогда, между прочим, ему, пожалуй, пригодится знание французского языка, как источник заработка. Вот он и принимается за этот язык и аккуратно и педантично, точно школьник, громко на весь коридор разучивает произношение, зубрит слова, достает книжки и берется за переводы, — и все это в надежде и с расчетом на материальную выгоду в отдаленном будущем. Если бы Балтин убедился, что лет через десять ему выгоднее будет заняться в Сибири изготовлением французской помады, то

он и думать не стал бы об изучении французского языка. Да и вообще, отвлеченный, теоретический интерес к чему и к кому бы то ни было—понятие для него совершенно чуждое. Указания и советы в своих занятиях он получал от моего сокамерника, превосходно знавшего французский язык. Обратившись к нему за помощью, Балтин, очевидно, и не представлявший себе безвозмездных услуг даже от товарища, пресерьезно осведомился: какую плату деньгами или натурой тот хочет за свои советы и наставления...

По ходатайству начальника и доктора, Балтину и еще двум старикам-латышам заменили бессрочную каторгу 25-ю годами обычной тюрьмы. Они намеревались, по прибытии в Ригу, подать царю прошение о помиловании, для чего их родные уже заручились обещанием содействия со стороны некоторых влиятельных при дворе остзейских баронов.

Из сопроцессников Балтина любопытен еще был мелкий купец Озолин, говорливый человек с большой лысиной и водянисто-голубыми глазами. Охотник до умных разговоров, он, бывало, едва мы с ним выйдем на прогулку, сейчас же начнет бомбардировать меня своими рассуждениями о политике, о финансах, о партиях, о Государственной Думе, о различных случаях в своей жизни и т. п. На статистическом листке он записался социал-демократом. Только социал-демократ он особенный: при более подробном расспросе оказалось, что в осуществление социализма он не верит и видит в нем мало толку: расплодится много лентяев, никто не захочет исполнять тяжелые работы, все набросятся на места чиновников и на ученые профессии... Да и вообще, мыслимы ли такие перевороты, которых еще свет не видал!.. К тому же мир уж так устроен, что... ну, и так далее. Что страшного мог совершить этот безобидный старик, чем именно этот „повстанец“ заслужил свою бессрочную каторгу—никак не пойму...

Озолин был прост, непритязателен и как бы весь на ладони, зато не так легко было раскусить другого бессрочника Фридеберга, немца по отцу и латыша по матери. Человек малоразвитой, он тем не менее обладал удивительным нюхом и даром приспособления. Ему ничего не стоило унижаться, вилять, льстить, пускать пыль в глаза, лгать и хитрить,—если только в перспективе у него материальная выгода.

Работал он в столярной мастерской. И вот он одному

из влиятельных политиков изготовит лопаточку для мусора, другому—ножик для хлеба, тому полку для книг, этому—линейку,—и все преподнесет сам. Или же поймает голубя, зарежет его, достанет морковки и луку, сварит у себя в мастерской и вдруг, не дожидаясь вашей просьбы, а то и вопреки вашему желанию, возьмет и угостит вас, да не просто угостит, а непременно с пожеланием хорошего аппетита. Вы недоумеваете и не знаете, чем заслужили его любезность, но вот он как будто невзначай, так, между прочим, попросит вас выписать ему большой эмалированный чайник или подарить вот эту немецкую библию, которую он, раздавая кипяток, как-то заметил у вас на железном столике... На устах у него всегда угодливая улыбочка, здоровается он шумно и торжественно, беспрерывно ухаживает за вами, и только холодный блеск его глаз говорит вам, что при случае он готов обобрать и погубить вас.

Когда надо было, он фрондировал, ругал начальство, кричал и поддакивал, но в то же самое время зорко-зорко следил за тем, чтоб само начальство было о нем отличного мнения, а с глазу на глаз с ним он даже подчеркивал свою готовность к „услугам"... Помню, какой скандал поднял Фридеберг, когда, собирая статистику, я отказался записать его социал-демократом. А между тем, работая в тюремной мастерской, он крал казенный лак и продавал его уголовному Паслову, большому алкоголику. Назначенный столярным инструктором, он не только торопил и покрикивал на арестантов, шпионил и доносил обо всем начальству, но и эксплуатировал их в свою личную пользу. Каторжане платили ему крайней ненавистью, и только строгий режим современной каторги да преобладающее влияние политических, противников физической расправы, сделали то, что уголовные „Иваны" не „пришили", т.-е. не придушили этого субъекта.

Участие Фридеберга в Туккумском восстании 1905 г. сводилось больше к тому, что он грабил баронские замки и опустошал винные погреба. В обыкновенное время такой человек премирно и преспокойно тянет свою житейскую канитель, трудится и копеечку наживает, является даже опорой всякого рода „устоев". Но когда забурлит народное движение, когда дело доходит до непосредственных схваток низов с верхами и людям в роде Фридеберга улыбается личная выгода, такие шакалы тут как тут и выходят на добычу. Симулируя благородство помыслов и чувств, они

примазываются к движению чистому и идейному, грязня и компрометируя его. И лишь когда пронесется поток народного волнения,—все низкое оседает на дно, становится заметным и поддается анализу. К счастью, типы в роде Фридеберга находятся в меньшинстве, и не они задают тон стихийно-массовым выступлениям.

Военный суд приговорил Фридеберга к бессрочной каторге. Сам же он считал себя осужденным без достаточных оснований, послал множество прошений во множество инстанций и учреждений, выставлял свидетелей и лжесвидетелей, несколько раз писал прошения на Высочайшее Имя о помиловании. В конце концов, благодаря содействию начальства и, как говорили, госпожи Вороновой, богомольной и влиятельной старухи, посещавшей тюрьмы,—он добился того, что бессрочную каторгу ему заменили простой высылкой на поселение в Сибирь.

Чтоб покончить с ехавшими с нами латышами, упомяну еще про Жанно Фишера, молодого, лет 26-ти человека, тихого и вдумчивого. Активным революционером он никогда не был, но когда узнал, что некто выдал полиции многих социал-демократов и „лесных братьев“, повешенных и сосланных в каторгу, он указал на него настоящим революционерам. Те проследили предателя и убили его. Один из мстителей был арестован; отвезенный в Ригу и подвергнутый пытке, он выдал Фишера, что, однако, не спасло его самого от виселицы. Фишер же, в самом убийстве нисколько не участвовавший, был приговорен к бессрочной каторге. У нас в Вологде он заболел туберкулезом, и теперь без жалости и боли нельзя было смотреть на этого живого, еле-еле движущегося, с блуждающим и тоскливым взором скелета.

Совсем в другом роде был цыганенок Фриц, молоденький, высокий и стройный парнишка из Прибалтийского края. Своей непосредственностью, бурной стремительностью да какой-то чисто-детской прямолинейностью Фриц был настоящий дикаренок. Когда он затянет какую-нибудь песенку или же о чем-нибудь заспорит и рассердится, сверкая своими чудесными темно-карими глазами, а в особенности, когда он, бывало, улыбнется, раскрывая свой маленький рот и обнажая мелкие и белые зубы, то прямо залюбуешься им. Я часто нарочно выискивал поводы, чтоб заставить его улыбнуться. Так, когда надо было тушить лампу, я предварительно узнавал втихомолку, как это го-

ворится по-латышски, и затем с серьезным лицом кричу ему через всю камеру:

— Фрици, абзеш лампа!..

Он сначала удивится тому, что я вдруг заговорил на чужом для меня языке, вскинет на меня глазами, но потом, поняв, что это я шучу, начинает тихонько посмеиваться, повторяя в кавычках сказанную мною фразу, и со своей прелестной детской улыбкой идет тушить лампу.

Осужден он на 10 лет за участие в каком-то разбойном нападении. Находясь в тюрьме, он заболел чахоткой. Теперь, после замены 10 лет каторги 15-ю годами обыкновенной тюрьмы, он высылался на родину, то-есть переводился в тюрьму того города, к которому он приписан.

* * *

Профессиональному вору и рецидивисту Богдановичу, с которым я ехал почти до самого Пскова, придется посвятить отдельную главу.

Выше среднего роста, от природы, должно-быть, стройный и гибкий, с густыми и вьющимися волосами, он был бы совсем красавцем, если бы не отсутствие нескольких передних зубов, болезненный цвет лица и какая-то старческая дряхлость, не идущая к этому 25-летнему человеку. Неприятны еще и сразу обращают на себя внимание его беспрестанно бегающие во все стороны и как бы щупающие, блестящие черные глаза.

В тюрьме он сидит уже шестой раз, а воровать начал мальчиком. По выходе из тюрьмы, куда он попал впервые за пустячное дело, Богданович специализировался на домашних кражах и на разгроме ювелирных магазинов,— двух отраслях воровского искусства, где больше всего требуется ловкости, смекалки и выдержки. С самого детства у него было непреодолимое отвращение к школе. Сколько его ни били и ни пороли родители и старшие сестры, как его ни срамили, но он все убегал из училища, якшался с уличными мальчишками, участвуя в самых дерзких проказах. Родители Богдановича — зажиточные лавочники, дома у них никогда не было нужды и лишений, остальные дети все „вышли в люди", живут хорошо и спокойно, и только он один кочует по тюрьмам.

И до суда и после него—на каторге (я нередко встречал таких вот арестантов),—в побуждениях к преступности у которых нет как будто ни бедности, ни сиротства, ни

беспризорности. Должно-быть, причина их уклонения от так называемого „честного пути“ лежит даже не в их природных задатках, которые в данном случае сами по себе нейтральны и при разных обстоятельствах могут вылиться в самые противоположные формы. Скорее всего, дело тут в тех антирациональных и антипедагогических приемах воспитания, в которых проходит жизнь ребенка и подростка. Это элементарная, но чреватая последствиями первостепенной важности истина, что атмосфера неправды и лицемерия, отсутствие этичности и гармонии во всем, что окружает ребенка, глубочайшим образом отражаются на всем его существе. Если еще прибавить свойственную всякому бойкому и жизнерадостному мальчику потребность в молодечестве да те незаметные воздействия, которые оказывают на ум и на воображение подростка уже испорченные сверстники, то мы и найдем причину—точнее: причины того, что способный и даровитый Богданович сделался вором.

Впоследствии он, хотя и жил бесшабашно-весело, но путь его карьеры был усыпан далеко не одними розами. Правда, кражи у него бывали большею частью удачные, похищаемые вещи он обменивал у блатер-каинов на деньги, покупал себе дорогие костюмы, меняя их по нескольку в один сезон, кутил и играл в карты, катался с дорогими проститутками на автомобилях, бросал пятирублевки на чай кельнершам в богатых ресторанах... Но зато сколько раз его в полицию забирали! Сколько раз ему в сыскном ребра ломали и зубы выбивали! Он сам приходит в ужас, когда начнет вспоминать свое прошлое.

Родители его, у которых были взрослые дочери-невесты, совершенно от него отказались, чтоб не компрометировать честь семьи, и только одна мать Богдановича тайком приходила к нему в тюрьму и кое-чем помогала. Пробовали было женить его на одной честной девушке, которая ему самому тоже нравилась и за которой давали в приданое хорошо обставленную пивную, но он не мог уже отстать от воровской профессии и воровской компании.

В последний раз Богданович попал в каторгу вместе с двумя другими ворами,—одного из них, искусного механика, я часто встречал возле тюремной кузницы, где он устраивал самодельный граммофон. Забрали их как раз во время разгрома магазина драгоценных вещей. Как рецидивистам, им дали по шести лет арестантских рот. Раздраженные и неудачей своего предприятия и суровостью приговора, они

тут же сгоряча разразились целым потоком самой отборной ругани по адресу судей, их матерей, закона, царя, Бога, веры и т. д. За это их судили добавочно и по совокупности приговорили к шести годам каторги.

Попав к нам в Вологду, Богданович стал искать случая вырваться из централа на волю. Однако теперешние тюрьмы, особенно каторжные, так основательно охраняются, что рассчитывать на удачный побег почти не приходится. Но тут ему помогло другое. Наш доктор Шнейдер старался сплавить из больницы как можно побольше туберкулезных, и Богданович, у которого действительно началась чахотка, немного досимулировал болезнь и добился того, что осматривавшая его комиссия признала необходимым заменить ему шесть лет каторги девятью годами обыкновенного тюремного сидения. Теперь он шел в одну уездную тюрьму, откуда и надеялся дать самому себе амнистию, т.-е. попросту рассчитывал с помощью с воли бежать. Собственно для этой именно цели он и добился замены каторги простой тюрьмой.

Меня очень интересовало, как сам Богданович смотрит на свой жизненный путь. Но он, очевидно, мало задумывался над этим.

— А чорррт его знает!—ответил он, крепко выругавшись при этом.—Должно-быть, такой уж родился... Звезда такая!..

Свое прошлое он со злобой осуждает, т.-е. осуждает не то, что обворовывал людей, убивал их (он успел совершить два безнаказанных убийства) и развратничал да картежничал,—нет, осуждает он свое прошлое за то, что зря свою молодость промотал: ему далеко еще до 30-ти лет, а он уже калека с отбитыми в участке легкими, выбитыми зубами, без семьи, всеми брошенный и презираемый... Еще вопрос, удастся ли теперь уйти из той провинциальной тюрьмы, а тут еще чахотка насела, так ее и так...

— Эх, выйти бы теперь на волю,—мечтал он вслух,—сделать парочку хоро-о-ших краж, *заработать* большие деньги и бросить совсем это дело... А то, смотри, еще сгниешь в тюрьме...

* * *

Наконец-то мы прибыли в Петербург. Уж не знаю почему, но наш арестантский вагон несколько часов стоял на вокзале, так что в тюрьму мы отправились лишь поздно

ночью. Это томительное ожидание очень расстраивало. „Что-то меня ждет в пересылке, а потом в централе?—с тревогой думал я.—Эх, досадно, что и столицы теперь толком не увидишь“.

Собственно говоря, по Петербургу я проходил теперь второй раз. Мое первое путешествие относилось еще к 1909 г., когда нас, человек 70, пересылали из Шлиссельбурга в Вологду. Помню, это было летом. Погода стояла чудесная. Небо было синее и глубокое, лишь местами испещренное белыми облачками, а по обеим сторонам Невы тянулся ряд утопающих в зелени дач. Кое-где на террасах и дорожках появляются и исчезают фигуры людей, одетых в вольное, снуют молодые женщины и дети. Вон две девушки, сидевшие, обнявшись, с книгой на коленях, долго смотрят нам вслед; догадавшись по нашим костюмам, кто мы такие, они поднялись и замахали платками. Пароходик, на котором нас перевозили из крепости, шел быстро, бурля и вспенивая воду, в которой отражались золотые блестки июньского солнца. Воздух, насыщенный ароматом деревьев и трав, был неподвижен, и самые тучки, кудрявые и лохматые, казалось, остановились на небе, чтобы посмотреть на нашу каторжную братию. Кругом было тихо, и только лязг наших кандалов, наша уродливая одежда, наши измученные серо-желтые лица вносили диссонанс в эту идиллию. От простора и свежего воздуха голова кружилась, а сердце, неугомонное и трепещущее сердце, заныло тоской, когда в мозгу застучало:

— Ведь скоро опять попадешь за решетку...

Помню, как наш пароходик остановился у маленькой пристани. На берегу стояла толпа чернорабочих, баб и мальчишек. Смотрели они на нас взглядом, в котором было больше страха, чем доброжелательности. И лишь один господин в соломенной шляпе и в пелерине, не то учитель, не то литератор, подошел к нам поближе и громко крикнул:

— Здравствуйте!.. Здравствуйте, господа!—и, обратившись к глазевшей на нас толпе, он поучительно произнес:—Пред этими людьми шапки снимать надо!..

— Ну, и снимай, коли хочешь!.. Ишь, нашелся!—ответил ему кто-то грубо.

Стоявшая тут же баба засуетилась, поспешно вынула из-за пазухи клетчатый платок, достала из него монету, перекрестила нас и передала ее конвойному.

Чем ближе подходили мы к центральным улицам, тем

больше обращали на себя внимание публики. Звон семидесяти пар ножных кандалов да дюжины пар наручников; свистки городовых, останавливавших пролетки и трамваи и покрикивавших на неповоротливых пешеходов; масса конвойных, которые окружали нас густой цепью и шагали с обнаженными, ярко сверкавшими на солнце шашками,—все это невольно приковывало взгляды и гипнотизировало прохожих. Да и один наш аляповатый и ошельмованный вид чего стоил!.. Оттого ли, что нас отправили экстренно и неожиданно для самого начальства, или оттого, что последнее хотело сбыть все завалявшееся в цейхгаузе барахло, но одеты мы были далеко не по сезону, — в серых из толстого сукна бушлатах и брюках и таких же шапках. Вся эта залежалая рвань, со множеством заплат ни на ком из нас не была по мерке: у одного брюки не закрывали даже подкандальников, а у другого они путались в ногах и никак не застегивались...

Июньская жара порядком донимала нас, и все мы брели, еле передвигая ноги, мокрые от пота, оглушенные уличным шумом и покрикиваниями конвойных:

— Ровняйсь!.. Не выходи из линии!.. В затылок!.. Скорее!.. Не отставай!..—то и дело кричали они, глядя на всех зверем, как это всегда бывает даже с хорошими солдатами, когда они ведут арестантов по городу.

Прохожие впивались в нас глазами, полными ужаса и любопытства. Не только с пролеток и омнибусов, но и из окон и балконов свешивались фигуры людей, провожавших нас напряженными и недоуменными взглядами. По правде сказать во взглядах этих очень мало заметно было сочувствия, по крайней мере так казалось нам, ждавшим от столичной публики чего-то большего. В одном только месте какой-то господин в пенснэ шумно и демонстративно снял шляпу и долго смотрел нам вслед, указывая кому-то на каторжанина, шедшего с пачкой книг. Один молодой человек, по виду конторщик, крикнул нам:—„Политические?.. Из Шлиссельбурга?..“—и сочувственно замахал головой. Стоявшая на балконе горничная швырнула нам пару яблок и серебряную монету. Из одного ресторана, открытые окна которого выходили на улицу, выскочил лакей с салфеткой в руке и, бегая рядом с конвойным, суетливо и что-то объясняя, совал ему рубль, кивнув в нашу сторону. Но конвойный ударом шашки опрокинул его наземь и крикнул:

— Не подходи-и!..

Когда мы свернули на Невский проспект, за нами шествовала уже огромная толпа. Многие, в том числе и два щеголеватых студента, с торчавшими сбоку маленькими позолоченными шпагами, и одна высокая барышня с папкой нот, провожали нас до самого вокзала. Какой-то молодой еврей, торопливо и деловито шагавший по панели, вдруг, точно кто-то толкнул его, остановился, покачал головой и, очевидно, отвечая каким-то своим собственным мыслям, вдруг крикнул:—Амнистия!.. Господа, не падайте духом!.. Амнистия!..—Сказав это, он поспешно пошел вперед, то и дело оглядываясь.

После продолжительного сидения взаперти, с жадностью приглядываешься к публике, особенно к женщинам, читаешь вывески, рассматриваешь лица, вслушиваешься в говор толпы, вообще спеша набраться как можно больше впечатлений; чувствуешь, что злая сеть тюремной решетки скоро-скоро снова отгородит тебя от мира, от жизни, от людей... Пестрая толпа, куда-то лихорадочно спешащая с выражением заботы и тревоги на лицах; женщины, затянутые в модные, должно-быть, платья и в уродливых, похожих на опрокинутые горшки, шляпах; парочки, идущие под руки, смешно прижавшись друг к другу, как бы показывая всем свою интимную близость; обрывки оживленных разговоров и неискреннего смеха, порой долетавшие до нас,—вся эта егозящая суета производила впечатление чего-то искусственного, нарочито-крикливого и нездорового. По крайней мере, так могло казаться человеку, сразу попавшему из одиночной камеры в водоворот улицы.

На этот раз впечатления от столицы были гораздо скуднее. Лишь поздно ночью мы вышли на платформу вокзала. Едва мы оставили арестантский вагон, как нас сейчас же окружили конвойные с обнаженными шашками. Каторжане выстроены были впереди, за нами шли простые пересыльные,—разная шпана и кувыркалы. В первом ряду были наши латыши, все высокие, седые, закованные по ногам и рукам.

На перроне публики было мало. Звон кандалов да окрики конвойных привлекли к нам внимание, и из залы первого класса высунулось несколько голов. Прямо нам навстречу шла небольшая группа из трех мужчин с бритыми актерскими физиономиями и двух молодых женщин, роскошно одетых и пахнувших духами. Мужчины и одна из женщин—

худощавая брюнетка, которая шла, тихонько что-то напевая и чуть-чуть притоптывая ногами—посмотрели на нас довольно равнодушно и спокойно прошли мимо. Зато другая дама, полная и румяная блондинка, увидав закованных в железо стариков, немного отступила, звонко ахнула и, став в несколько театральную позу, протянула:

— Ах, несча-а-стные!.. Несча-а-а-стные!..

Вынув из своей муфты обернутый в цветную бумажку апельсин, она прямо подала его стоявшему с краю каторжанину. Проделала она это так неожиданно и смело, что, когда конвойный замахал на нее шашкой, она уже успела отскочить в сторону. Все мы жадными глазами пожирали эту красивую надушенную женщину. Но тут двое конвойных зажгли свои факелы. Старший унтер-офицер скомандовал нам, и мы двинулись к тюрьме.

Погода стояла тихая и безветреная. Снег скрипел под ногами, а звон кандалов отдавался гулким эхом в ночной тишине. Каждый из нас полною грудью вдыхал „вольный" воздух и думал свои невеселые думы. Шли мы сосредоточенно-молча, и только частое покашливание наших туберкулезных да сердитое потарапливание конвойных нарушали глухое безмолвие. Уличное движение замерло уже, и прохожие лишь изредка попадались нам навстречу. Вся эта картина: темная ночь, освещаемая редкими электрическими фонарями и парой факелов, конвойные с блестящими шашками, толпа арестантов, скованных парами по рукам и торопливо шагающих под аккомпанемент кандального звона—производила жуткое впечатление. В встревоженном мозгу мелькали тени настроений и, не доходя до порога сознания, исчезали, оставляя после себя ощущение смутного страха и опасливости.

В пересыльной тюрьме нас принимал дежурный помощник, обрюзглый старик с помятым и морщинистым лицом и с большим красным носом. Тут же заносил наши фамилии в огромнейшую книжищу старший надзиратель, плотный толстяк с валенками на ногах. Господин помощник был не в духе и все время ворчал, бранился и рычал.

— Звать как?.. Отчество?.. Губерния?.. На сколько?.. За что?.. Казенные вещи в порядке?.. Сколько их?..— задавал он машинально вопросы, проверяя наши ответы по бумагам. На последний вопрос не всякий отвечал сразу.

— Ах, сукины сыны! Что же, считать не умеете?.. В

первый раз, что ли?.. Отвечай: брюки есть?.. Бушлат?.. Халат?.. Полушубок?.. Валенки?.. Коты?.. Портянки?.. Подкандальники?.. Поджильники?.. Ремень?.. — ворчал помощник. Из-за этих поджильников (особых ремешков, в которые вдеваются загибы от кандальных обручей) и возникали недоразумения,—один считал их за особый предмет, а другой причислял к подкандальникам. Наконец приемка кончилась.

— У кого деньги на руках, покупай чего надо!—громко крикнул один из надзирателей. Тут же в приемной стоит большой шкап с разного рода съестными и бакалейными товарами, которые отпускаются на месте за наличные. Порядок этот избавляет арестантов от необходимости прятать медную и серебряную мелочь и все же оставаться без сахару и табаку, как это бывает в других пересыльных тюрьмах.

Нас ввели в большую раздевальню, где в особых ларях навалена была всякая рвань,—дырявые коты, брюки, бушлаты и грязные засаленные шапки. Тут же нам выдали старенькое и с заплатами, но чистое белье,—словом, с ног до головы обмундировали во все здешнее. Наши же собственные вещи вместе с этапной одеждой были немедленно отобраны и отнесены в цейхгауз. Порядок этот, очень удобный с точки зрения администрации, введен был начальником петербургской пересылки Аракчеевым. Не успели мы еще одеться, как нас всех, не спрашивая даже нашего согласия, усадили на скамейку и принялись стричь машинкой. При всех этих операциях присутствовало много надзирателей, от которых только и слышишь:

— Поворачивайся!.. Молчать!.. Не разговаривать!.. Стой смирно!..

Надзиратель, осматривавший мои вещи и книги, тихонько расспрашивал меня: кто мы, откуда, что это за седые старики в наручнях? Но, едва приближался кто-нибудь из начальства, он сейчас же как заорет:

— Тише!.. Не разговаривать!.. Делай свое дело!..

По узенькому коридорчику, с левой стороны которого шли камеры с решетчатыми дверями, а по правую тянулась перегородка из плетеной проволоки, мы прошли в самую крайнюю камеру, в которой, в отличие от всех остальных, дверь была не решетчатая, а глухая. Помещение это было рассчитано на 12 человек, но нас загнали туда 17,—всем лишним пришлось устраиваться на ночь

кому на асфальтовом полу под койками, а кому—на обеденном столе. В отличие от других пересылок, в которых вместо отдельных коек устроены сплошные нары и где о подстилках никто и не думает, здесь сверх-комплектным выдали тоненькие тюфячки, а всем пришедшим — одеяла, соломенные подушки и даже простыни—роскошь, которой не увидишь даже во многих каторжных централах.

Вообще на гигиеническую обстановку в петербургской пересылке, находящейся в столице и посещаемой не только высшей администрацией, но и знатными иностранцами, обращалось серьезное внимание. Вентиляция хорошая, так что специфически тюремного запаха, от которого голова кружится и дух спирает, здесь почти не услышишь; свету много, — окна большие и на низком расстоянии от пола; отопление центральное; асфальтовый пол всегда блестит. В камере же, за перегородкой из волнистаго железа, имеется превосходно устроенный клозет, кран и раковина для умывания,—удобство, имеющее огромное значение в тюремном быту: тут уже не знаешь ни хронически воняющей параши, ни выпусканий на оправку по очереди и с большими перерывами.

В заведенных Аракчеевым порядках много смысла и толковости. Так, например, в других тюрьмах, для того, чтобы арестант мог разрезать себе хлеб или селедку, ему приходится обзаводиться нелегальным „перышком", т.-е. железной, а то и жестяной полоской; во время обысков вещи эти отбираются, а собственники их наказываются темным карцером (в большинстве тюрем) или розгами (например, во Пскове при Черленковском), или нещадно избиваются (например, в Орле). Здесь же Аракчеев предупреждает всю эту волокиту тем, что на время завтрака, обеда и ужина выдает настоящие металлические ножи, правда, настолько тупые, что при всем желании никого им не зарежешь.

Хлеб здесь такой же сырой, тяжелый и безвкусный, как и в большинстве других мест, зато обед и ужин, в отношении и качества и количества, гораздо лучше, чем во многих централах, не говоря уже о несчастных пересылках. Объясняется это единственно тем, что тощий арестантский паек попадает здесь прямо в тощий арестантский желудок, не застревая по пути в широких карманах кого-либо из начальства. В Петербурге мы были простыми пересыльными, но прогулка давалась нам каждый день.

Приходил специальный надзиратель, прозванный почему-то „Конем“—белобрысый и угрюмый человек, который и выводил нас подземным ходом на чистый, превосходно вымощенный широкими плитками двор со скамейками для сиденья и с разбитыми посредине клумбами.

* * *

Жизнь заключенных здесь строго регламентирована. Ежедневно они выбирают дежурного, фамилия которого отмечается на особой дощечке, прибитой сбоку камеры: он-то и ответствен за чистоту и порядок. После обеда арестанты обязаны опускать койки и в течение двух часов отдыхать лежа, непременно лежа, и притом не смея разговаривать между собою. Часа через два после обеда они должны встать, прибрать свои брезентовые койки, а тюфячки с одеялами и подушками свернуть в трубку и приняться за чаепитие. В восемь часов вечера, как только пройдет поверка и пропоют молитву, все обязаны немедленно укладываться спать, не имея права даже перешептываться.

Здешние надзиратели, начиная с принимавшего нас старшего Некрасова и кончая самым младшим—как общее правило, возмутительно грубы и придирчивы. О тыкании и говорить нечего,—не только надзиратели и смотрители, но и люди с университетским образованием, в роде инспекторов, обращаются с политическими каторжанами не иначе, как на „ты“.

— Эй, чего там разгулялись! — кричит, например, надзиратель, которому почему-то не нравится, что мы расхаживаем по камере. — Вот щетки и трите!.. Да чтобы блестело!.. Живо!..

Он подает нам щетки и кусок воску, и мы должны, так себе, без всякой надобности, чуть ли не в четвертый раз за один день приняться за полировку асфальтового пола, выделывая закованными ногами танцовальные штуки. Кончим работу и сядем где попало. Но это не нравится другому надзирателю.

— Чего расселись! — кричит он, открыв широкую дверную форточку.—Делать вам, сволочи, нечего!.. Что? Рассуждать!.. Тише!.. Молчать!.. Не разговаривать!.. А это почему платок мокрый?—вдруг заметил он чей-то развешенный на койке платок: мыть что-нибудь в раковине строжайше воспрещается. Начинается ругань, покрикивание, угрозы карцером.

Надзиратели сильно терроризованы Аракчеевым. Во все время своего дежурства они ходят в валенках как по струнке, сосредоточенные и серьезные, словно священнодействуют, и только ищут случая, чтобы засадить кого-нибудь в карцер и этим доказать начальству свою бдительность и неусыпность. Очень самостоятельный, независимый и вольнолюбивый в своих отношениях к высшей администрации, Аракчеев в то же время энергично преследует эти же самые качества в своих подчиненных. Бесконечно-строгий к арестантам, он еще строже к надзирателям и немилосердно штрафует их даже там, где почему-либо готов спустить каторжанину. Так однажды социал-революционер Фельдман уцепился за отдушину над дверью своей одиночки и с кем-то переговаривался. Заметив это, Аракчеев оштрафовал надзирателя на пять рублей, а Фельдману, влиятельному террористу, с которым у него и до этого бывали стычки, не сказал ни слова. Это-то и заставляет дежурных глядеть в оба и усердствовать свыше всякой меры.

Попасть здесь в темный карцер на хлеб и на воду нет ничего легче: не так начистил пол; разговаривал после поверки; посматривал через окно на двор; бросил окурок папиросы не туда, куда полагается; ответил на приветствие простым „здравствуйте" вместо холуйского „здравия желаю", „не исполнил приказания", или „сказал грубость надзирателю" (самые неопределенные и растяжимые категории арестантских проступков), не говоря уже о передаче записки в другую камеру или об отправке письма на волю помимо конторы. Хорошо еще, если придется иметь дело со старшим помощником Эбеном, строгим формалистом, но умным, добросовестным администратором-джентльменом; но беда, если распоряжение о карцере исходит от другого. И если впоследствии выпоротый розгами политический Аристов попал в карцер за то, что возмутился тыканием надзирателя, то другие попадали туда и за более пустячные проступки. Я знавал каторжан (припоминаю, например, социал-демократа Ликумса, впоследствии умершего от чахотки), которые за самое короткое время побывали у Аракчеева в карцере десятки раз.

При мне посадили туда Шмидта, который шел со мною из Вологды. Мы стояли в коридоре и поджидали на прогулку еще одного из нашей камеры. Когда он подошел к нам, Шмидт, стоявший первым у решетчатой двери кори-

дора, не дожидаясь специального приказания надзирателя, направился к выходу, а вслед за ним и мы остальные.

— Сто-о-й!.. Куда!..—закричал на него „Конь“, состроив такую гримасу, будто Шмидт натворил нечто ужасное и непоправимое. — Тебе кто велел, а?.. Это что за самовольство!.. Что? Молчать!..

— Да чего вы кричите, орете? Что я такого сделал?— возражает ему Шмидт.

— А-а, ты еще грубить!.. Грубить!.. Хорошо!.. Стань в сторону!.. — рассвирепел наш прогулочный дядька. В результате Шмидт просидел в темной вплоть до своего ухода на этап в Шлиссельбург.

Как я уже упоминал, сейчас же после вечерней поверки певчие выходят на коридор и довольно стройно поют молитву. В это время дежурный помощник и кто-нибудь из старших надзирателей тихо-тихо и быстро-быстро мчатся и летят по всем коридорам и смотрят сквозь решетчатые двери, хорошо ли, т.-е. молча, не шевелясь и сосредоточенно ли стоят арестанты во время этой молитвы. Часам к восьми вечера вся жизнь в тюрьме замирает. Все обязательно ложатся и засыпают, по крайней мере, делают вид, что спят. Однажды помощник начальника (мне говорили, что фамилия его барон фон-Штакельберг) заметил через решетку, что какой-то каторжанин лежит с открытыми глазами, между тем как шел уже десятый час вечера.

— Эй, ты, номер такой-то!—кричит помощник, называя номер его койки.—Чего не спишь?.. Или в карцер захотел?

— Я давно уже сплю, ваше высокоблагородие, — ответил находчивый арестант, — только забыл глаза закрыть... Ей-Богу...

Все остальные хотя и лежали молча и с закрытыми глазами, но еще не спали,—мучительная бессонница явление слишком частое в тюрьме; услышав такой ответ, да еще сказанный серьезным тоном, многие не выдержали и прыснули со смеху. Думали, что на другой день будет „история“ с эпилогом в виде „географии“, т.-е. в виде путешествия в карцер, но обошлось благополучно, вероятно, сам помощник постеснялся разгласить этот маленький инцидент.

Арестанту, в особенности каторжанину, попавшему к Аракчееву, нужно держать себя на чеку и строжайше придерживаться всех многочисленных и до тошноты мелочных распорядков, им заведенных. Благодаря решетчатым дверям, заключенный круглые сутки весь на виду у надзирателя,

так что поводов к придиркам и прижимкам более чем достаточно. Не будь этого самодурства и не выдерживающего никакой критики, явно чрезмерного „административного восторга“, петербургская пересыльная тюрьма, управляемая Аракчеевым, могла бы считаться одной из лучших: в мое время каторжане зарабатывали там весьма и весьма прилично; обед хороший; выписка продуктов—и в смысле техники и в смысле разнообразия — толково обставлена; медицинская помощь всегда под рукой; в соблюдении чистоты и в некоторых установлениях проглядывает здравый смысл и хоть кой-какое внимание к нуждам арестанта.

Только эта вот нудная казармщина расстраивает нервы и настолько давит, что каждый рад поскорее вырваться отсюда и попасть в соответствующий централ.

* *
*

В пересыльных тюрьмах состав публики очень подвижной. Этапы то и дело уходят и приходят, так что твои соседи по камере часто меняются. Тут же встречаешь и таких, которых хорошо знавал раньше, также как и впервые знакомишься и с такими, с которыми потом проводишь годы в централе. Среди обитателей пересылки, как и среди пассажиров арестантского вагона, часто попадаются люди весьма интересные в бытовом и психологическом отношении. Кого только здесь ни увидишь!..

Подследственный Кученко—тощий, изможденный, с впалой грудью и весь истерзанный человек лет 35, вертлявый и разбитной. Он из крестьян Полтавской губ., профессия его портняжество. Но в селе, где он жил, „больно много портных развелось“, как он сам выражается, так что при случае он промышлял воровством. Находясь раз в тюрьме, он обокрал... тюремный же цейхгауз и при помощи жены сбыл вещи на волю. Про смерть своей жены он мне рассказывал ужасные вещи. Когда она находилась у своих родных где-то в Витебской губ., урядник, заподозревший ее в краже 25 рублей, с целью добиться сознания, стал бить ее нагайкой, заставлял поднимать юбки и голой ложиться на землю, затем целую ночь держал ее привязанной к перекладине сарая, а на утро привязал ее, словно лошадь, к своей телеге и в таком виде заставил бежать верст десять. Несчастная не выдержала этих пыток и умерла.

Не помню, за какое именно дело Кученко ждал теперь каторги, но, так как за ним уже числился один побег, он

шел теперь в кандалах и попал к нам в каторжную камеру. Сам по себе Кученко человек недурной, не глупый и отзывчивый; своей добавочной воровской профессии он стыдится, и—думается мне, найди он теперь прочный заработок, мог бы снова стать честным человеком. Но его ждет каторга,—и он человек пропащий и для себя и для других.

Степан Еремин—мужик лет под сорок, неразвитой и безграмотный. Дома он оставил жену и пятерых детей. Со своим новым положением он далеко еще не свыкся, и все, что на нем и вокруг него, кажется ему необыкновенным и непонятным: то он начнет перебирать кольца своих кандалов, качая при этом головой и причмокивая, то с любопытством рассматривает свою арестантскую шапку, как будто только-что увидел ее, то вздыхает и что-то шепчет. Каждое утро Еремин аккуратно молится на икону, а когда он, бывало, зевнет (а зевал он часто и протяжно, встряхиваясь всем телом и закидывая голову), то обязательно рот перекрестит.

Осужден он за убийство во время драки. В компании нескольких соседей Еремин возвращался домой из церкви; был какой-то праздник. Возле церкви была монополька, и все они порядочно клюкнули. По дороге он потерял свой кошелек и четверть водки, но с пьяных глаз ему показалось, будто все это стянул ехавший с ним рядом мужик. Он остановил лошадей и затеял с тем ссору. Вмешались и остальные, и скоро перебранка перешла в драку. Во время этой баталии младший брат Степана выхватил нож и не то всунул его в руку брату, не то сам лично стал наносить им удары, но в конце концов предполагаемый похититель штофа водки и кошелька остался лежать тяжело раненым и через неделю помер. Младший Еремин сбежал, а старший предстал пред судом. Мать умершего, из чувства мести и злобы, показывала под присягой, будто за час до смерти сын ее назвал своим убийцей именно Степана, а не Андрюшку. Остальные свидетели, бывшие во время потасовки пьяными, ничего не помнили, уверениям же Степана суд не придал значения и приговорил его к четырем годам каторги.

Подобные истории, только с различными вариациями, мне приходилось и до и после этого выслушивать не от одного десятка каторжан из мужиков. Балтин, к которому Еремин с самого же начала проникся уважением, выслушав его рассказ, прочел ему несколько длинных нотаций,

обещал позаняться его развитием и обучить грамоте, а обратившись ко мне и к Шмидту, произнес многозначительно и укоризненно:

— И с таким-то народом вы думаете республики добиться!.. Научите его раньше грамоте!.. Эх, вы, молодежь, мечтатели!..

До суда Еремин сидел больше года, и за это время его младший брат Андрюшка тоже успел попасть на каторгу, только по другому делу. Это был пустой и глуповатый щеголь. Арестовали его как раз пред призывом на военную службу. Приятели его „жеребники" разгуливали в лакированных сапогах и широких гарусных поясах, кутили и бражничали, у него же не было на это денег. Чтоб раздобыть их, он вздумал ограбить какого-то лавочника. Но едва он схватился за денежный ящик, как тот поднял крик и задержал Андрюшку. Его предали военному суду, и теперь он тоже идет в Шлиссельбург, имея перед собою восемь лет каторги.

Оба они были молчаливые и неразговорчивые, и если с кем охотно беседовали, то разве с одним только Захаром Гавриковым, высоким и бородатым мужиком с масляными глазками и жирными губами. На воле он не ладил со своей женой, ветреной—по его словам—бабенкой, которая часто заставляла его терпеть лишения, очень тягостные для женатого человека. Однажды он пьяноватый пришел домой, захватив с собою водку, посредством которой он думал смягчить черствое сердце своей супруги. Но в хате он застал одну только дочку, отцом которой он считал не себя, а земского фельдшера. Отуманенный страстью и алкоголем, он и полез прямо к девушке. Той удалось высвободиться от него и убежать. Наивная и простая, она рассказала об этом соседним бабам, и те надоумили ее донести на отца куда следует. Его забрали, судили и сослали на каторгу. Любопытнее всего то, что сам Гавриков не видит ничего преступного в своей попытке изнасиловать дочку.

— Ведь я ейный кормилец!—оправдывался он на длинное замечание Балтина,—сколько забот она мне стоила... А денег сколько!.. Потом: ведь выйдет же она замуж... Значит, чужому можно, а мне нельзя?!.. Во, какие у нас законы!..

— Нет, брат, нехорошо ты поступил,—возразил ему старший Еремин.—Ведь ты мог бы к настоящей бабе подкатиться...

— А ты зачем на прогулку ходишь?—вдруг озадачил его Гавриков, никогда не любивший признавать себя в чем бы то ни было виновным.

— Как зачем?—недоуменно переспросил Еремин.—Известно зачем: свежий воздух...

— А-а, свежий... Ну, так я тоже захотел свежего, только не воздуха, а кой-чего повкуснее...

Из всех этих крестьян самый симпатичный был Алешин, шедший теперь из Шлиссельбурга на Амурскую дорогу, где ему предстояло докапчивать каторгу. Он так и не отходил от нашей компании, говорил нам: „товарищи", и даже не прочь был вмешиваться в наши споры и разговоры. О том, за что именно ему дали пять лет каторги, он не любил распространяться, отделываясь лишь односложными репликами и как-то конфузливо-виновато мигая своими голубыми глазами. Я только и мог узнать, что он батрак, служил кучером у помещика и осужден за убийство, главную роль в котором играли любовь и водка. В Шлиссельбург он пришел безграмотным и невежественным, но, сойдясь близко с политическими, научился хорошо читать и писать, прошел всю арифметику и даже взялся за алгебру и геометрию. Чтение и общение с партийными рабочими и интеллигентами сделали его новым человеком, и свое пребывание на каторге он считает настоящим для себя счастьем.

— Несколько лет—это пустяки...—говорил он мне,—а чем я был до каторги?.. Только и делал, что в навозе копался да лошадей чистил... Был как медведь в лесу... Ничего про жизнь не знал, а теперь у меня глаза открыты... Раньше жил как крот в земле, а теперь я вполне сознательный...—повторял Алешин восторженно, варьируя свою мысль на разные лады.

Таких вот простолюдинов, которые перерождались в тюрьме и из забитых, слепо верящих в разные авторитеты подданных становились почти сознательными гражданами, я встречал и в других централах. Вынужденное совместное пребывание политиков с уголовными—что так настойчиво и упорно проводилось тюремной администрацией—кое в чем имело и положительные результаты. Пожалуй, если бы верхи тюремного ведомства знали, сколько оппозиционных и революционных идей незаметно и исподволь проникало в головы мужичков в роде Алешина, оно навряд ли так ретиво смешивало бы в одну кучу каторжан разных категорий.

* *

За неделю до моего ухода из пересылки к нам пришел новый этап—группа каторжан из Чернигова. Назначены они были в Шлиссельбург. За исключением одного старика, осужденного за убийство, все они были совсем зеленая молодежь. Из них мне особенно запомнился Абраша Фейгин, стройный еврей с курчавыми волосами и большими, черными, слегка выпуклыми глазами.

В своей жизни я редко встречал такого восторженного и быстро приходящего в экстаз человека. Ни о чем, даже о третьестепенных вещах, он не может говорить равнодушно. Так и казалось, что каждое его слово сопровождается у него множеством восклицательных знаков. Подвижной и порывистый, он и минуты не мог усидеть на месте, то и дело кипятился и волновался. Казалось бы, что человек, не первый день сидящий в тюрьме, должен был ко многому относиться сдержаннее и ровнее, но нужно было видеть, как он вспыхивал, когда надзиратель кого-нибудь обругает.

— Товарищи... Это невозможно... Надо протестовать...—выходил из себя Фейгин.

Каторгу (четыре года) Фейгин получил за принадлежность к группе сионистов-социалистов. Романтик он был каких мало. Его идеал—это полное и законченное возрождение еврейской нации, но возрождение непременно на собственной территории. Довольно блуждать в изгнании, вызывая презрение у одних и обидную жалость у других... Пусть гений еврейства—все эти Спинозы, Марксы, Гейне, Антокольские—расцветает у себя дома, а не на чужбине... Пора зажить собственной жизнью... Вот увидели бы тогда, как далеко пошли бы евреи по части социального творчества, научной изобретательности, искусства, литературы...

В изложении Фейгина это было своего рода возрожденное мессианство, окрашенное в цвет модернистского социализма. Возражения и доводы практического свойства прямо коробили его своей будничностью и прозаичностью.

— Ах, зачем это...—говорил он с гримасой страдания.— Пусть только народ захочет... Пусть только еврейская интеллигенция не тратит себя на гоев... Остальное само приложится...

Когда Фейгин говорил и спорил на эти темы, глаза его становились до того блестящими, что, казалось, они излучают какой-то особенный свет. Восторг и меланхолия,

увлечение и скорбь так и светились из его специфически-еврейских глаз.

Сам он выходец из бедной, почти нищей семьи. Когда-то они жили зажиточно, но погром пятого года лишил Фейгина-отца и семью его обеспеченного куска хлеба. Перед своим арестом он должен был—экстерном—сдать экзамен за все восемь классов гимназии, но тюрьма и предстоящая каторга совершенно расстроили его планы. По своему характеру и по отношению к людям—это был идеалист и коммунист, юноша чуткий и услужливый. Его сангвинический темперамент, веселый нрав и бойкая, не без блестков своеобразного остроумия речь невольно к себе привлекали. Когда Фейгин уходил от нас в Шлиссельбург, он со всеми перецеловался, а на глазах у него были слезы.

Остальные черниговцы были осуждены в каторгу по 102-й статье. Одних, принадлежавших к кролевецкой группе с.-р., выдал какой-то 6-летний мальчик, а другие, примыкавшие к максималистам, были оговорены некиим Бойко. По наущению своей жены этот представитель их организации донес обо всем в полицию и при этом так запутал самого себя, что угодил потом в бессрочную каторгу.

Арестантский наряд—это неуклюжее серое барахло, заплатанное и замусленное, кандалы на ногах и круги под глазами — очень старили и безобразили их, но то неуловимо-свежее и прелестное, что свойственно одной только молодости, заставляло забыть их внешнюю непривлекательность. Интересно знать, как себя чувствовали судьи,— эти пожилые и серьезные люди и отцы семейств, — когда они награждали 8—12-летней каторгой каждого из этих юнцов. Мне лично было и приятно и больно смотреть на этих наивных, совершенно нетронутых и неискушенных житейской кривдой парнишек. Когда, бывало, говоришь им что-нибудь, они слушают тебя словно оракула, с открытым ртом и без всякой критики...

У нас в пересылке они чувствовали себя великолепно, невзирая даже на окрики и грубости надзирателя. И это потому, что там в Чернигове режим был еще более скверный: пища — отвратительная баланда, камеры переполнены до невозможности, обращение, особенно с политическими из крестьян и рабочих — хулиганское. Здесь же, попав в сносную гигиеническую обстановку и в хорошую

компанию, они были веселы, часто шутили и без видимой причины заливались своим молодым, звонким и задористым хохотом. И только двое из этих хохлов не заражались общим настроением: то были рабочий Кузмин и один высокий молодой человек, производивший впечатление ненормального.

Кузмин, имея от роду 26 лет, походил на болезненного мальчика, такой он был маленький, тонкий и щуплый. Его небольшое, овальное, как бы закопченное и с желтоватым отливом лицо всегда было страдальчески-грустно. Даже когда он изредка улыбнется, то все же по лицу его проходят тени. Вот уж, действительно, одолела человека горькая судьбина!.. Раннее сиротство, жизнь у чужих людей на положении приемыша... Годы ученичества, мытарства по мастерским и заводам... Вступив уже взрослым в рабочий кружок, он был впоследствии выдан организатором их же группы, тем самым Бойко, которого жена толкнула на предательство.

Ко времени ареста у Кузмина остались на воле жена и двое детей. Через „сочувствующих“ ее удалось пристроить сиделкой в больницу. Но в скорости дети ее, жившие при матери там же, умерли один за другим от тифа, а месяца три спустя скончалась и молоденькая жена Кузмина. Он тогда находился в тюрьме и был близок к помешательству. Он и сейчас считает себя главным виновником их смерти: если бы он, помня о своих семейных обязанностях, держался подальше от революционных организаций,—так рассуждает Кузмин,—то его не арестовали бы, жене и детям не пришлось бы перебираться в кишащую болезнями больницу, и они остались бы все в живых...

Сам Кузмин теперь окончательно обессилел болезнью—у него хронический катарр желудка. Тюремная пища для него неприемлема, долго держать его в больнице не станут, собственных средств у него никаких, а сроку у него ровно 12 лет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Другой черниговец, по фамилии Антонович, имел одутловатое лицо и глаза, в которых поблескивал тот самый огонек, который я имел случай наблюдать в психиатрической больнице у форменных душевно-больных. Целый день, с утра до вечера, за исключением разве послеобеденного отдыха, он слонялся по камере, решительно ни с кем не заговаривая: ходит он себе так, заложив руки

за спину, и смотрит впереди себя в одну точку своим зачарованным взглядом. Ничто его не интересовало, и только на еду он набрасывался с изумительной жадностью.

Что его ожидает в дальнейшем? Если он, попав в Шлиссельбург, не начнет разбивать дверей и окон, не будет орать благим матом, вообще не станет вести себя слишком уж эксцентрично, то его в больницу не возьмут, и он так и умрет в тюрьме в тихом умопомешательстве... *).

* * *

— Кто на Псков и на Ригу,—собирай вещи!.. Живо! Не копайсь!..—закричал однажды отделенный надзиратель.

У меня сердце запрыгало от радости. Я наскоро схватил свои скудные пожитки и вышел в коридор. Снова последовало раздевание догола, обыскивание, ощупывание и т. д. Старший, который выдавал вещи из цейхгауза, оказался удивительно добрым и ласковым, зато дежурный помощник вздумал-было придраться к тому, что у меня много собственных книг, хотя книги эти все время лежали в цейхгаузе, а из этой тюрьмы я ухожу совсем. Я уже стал волноваться, но на помощь мне неожиданно пришел конвойный солдатик, молодой, с безбородым загорелым лицом хохлацкого типа. Выбрав момент, он нагнулся и тихонько спросил меня:

— Чи вы политический?

— Да, политический,—ответил я шопотом.

— Ну, так пихай вин себе бреше...—сказал он, кивнув головой в сторону его благородия. Почти не просматривая моих вещей и книг, он сам же аккуратно вложил их в мешок.

Итти мне предстояло не куда-нибудь, а в знаменитый псковский централ, к знаменитому полковнику „Петрушке“, но, выбравшись из Аракчеевской пересылки, из этого теплого, светлого, благоустроенного *склепа*, я облегченно вздохнул.

---

*) Уже по выходе в Сибирь я узнал, что Кузмин умер в Шлиссельбурге через два месяца после нашей встречи в пересылке, а Антонович, будучи отправлен в психиатрическую лечебницу, пробыл там месяцев восемь и тоже скончался.

III.

## Орловский централ.

Как и большинство наших тюрем, орловская губернская тюрьма тоже помещается на окраине города. Пройдя множество улиц и переулков, мы поднялись на высокую горку и вскоре добрались до тюрьмы. Своим наружным видом— чисто выбеленный оградой, тщательно выметенным двором, разбитыми клумбами, прикрытыми аккуратно сложенными кучами снега—она производит впечатление уюта и порядка. Но кто заглянет внутрь тюрьмы, тот несколько разочаруется.

Нас ввели в глубокое подземелье, где в маленьком, полутемном коридорчике выстроился весь этап, — человек восемьдесят оборванных и измученных пересыльных арестантов. Принимал нас молоденький помощник начальника, одетый в новое форменное пальто и фуражку с огромными полями и миниатюрным козырьком. К удивлению моему, он вовсе не строил из себя генеральствующего сановника, как это делает большинство тюремных администраторов и старших надзирателей, которые смотрят на арестанта сверху вниз и говорят не иначе, как междометиями. Нисколько не напуская на себя тупую и надутую величавость, помощник этот держался просто и даже демократически: в его присутствии уставшие от длинного пути конвойные как ни в чем не бывало расселись на скамьях.

Первыми он вызвал Фельдмана, Арсентьева и меня,— пришли мы с особыми предписаниями. Просмотрев наши „открытые листы“, помощник как-то особенно взглянул на нас, покачал головой и сказал:

— Ох, ребята, и беда же вам будет... Ведь вы в здешний централ, а там... Ну, наверно, знаете... Смотрите, у всех вас плохие отзывы... А это что?—удивился он, прочитав что-то в наших бумагах и посмотрев на наши руки. Оказалось, что московский конвой просмотрел распоряжение главного тюремного управления и держал нас в вагоне без ручных кандалов.

— Ну-с, ладно,—продолжал он, приятно улыбнувшись,—переночуете вы у нас, а завтра утречком и в централ пойдете.

Двое надзирателей принялись грубо ощупывать нас, рыться в наших вещах, бесцеремонно разбрасывая их во все стороны, и после обыска ввели нас в пустую, сравнительно большую камеру с низким сводчатым потолком и маленьким окном,—отстояло оно от пола чуть ли не на сажень, а покатая и цементированная амбразура его была такой длины, что на ней смело мог бы растянуться взрослый ребенок. Двери этой камеры были двойные: наружная, сделанная из дерева и обитая железом, и другая, представлявшая высокую, до самого потолка, железную решетку. Вся меблировка этого мрачного и ужасно затхлого помещения состояла из небольшого деревянного столика и узенькой, насквозь провонявшей парашки. О койках и о скамейках и помину не было. Судя по многочисленным надписям на всех стенах, здесь содержали одних только пересыльных,—а об этой категории арестантов мало кто заботится.

Утром, после поверки, к нашей решетке подошел дежурный надзиратель, здоровенный и краснощекий крестьянин, по случаю воскресенья унизавший свою грудь георгиевским крестом и несколькими медалями.

— Не надо ли, робята, табачку? — спросил он слащавым голосом.

Оказалось, что страж этот тайком продает этапным махорку, как за наличные, так и за расплату товарами.

— Ну, как там в централе живется?—спросил я его, когда он передавал Арсеньеву восьмушку махорки.

— Да что!.. Теперь там жить можно, не то, что прежде... Бьют уже не так, а главное — харчи хоро-о-шие: каша каждый день... Ничего, жить там можно, — успокаивал он нас.

Перед обедом нас вызвал к себе другой помощник, летами постарше того, который принимал нас накануне.

Молодой, с густыми черными усами и огневыми глазами, он производил приятное впечатление.

— Вот что, господа!—начал он без всяких предисловий.—Смотрел я ваши бумаги... Ой-ой, плохо же вам будет!.. Знаете, какие в централе порядки... Мой совет: тише воды и ниже травы...

— Но неужели правда, что там зря избивают?—спрашивает помощника один из нас.

— Ну-у, зря не зря, это, положим, надо оставить,—поспешно возразил он.—Все зависит от поведения! У нас вот есть здесь такие арестанты, которых мы и за арестантов не считаем... Веди себя как следует! А не то, брат, я и сам могу дать такую взбучку и так отмордасить, что ай-люли-малина!..

С этими словами он вытянул сжатую в кулак правую руку и, размахнувшись ею по воздуху, ловко повернулся на каблуке сапога. Это у него вышло так мило и грациозно, что вслед за ним и мы все тихо рассмеялись.

— Да-с, так вот-с, господа,—продолжал он, собираясь уходить,—мой совет: смотри за собой, держи себя на чеку... Здесь, брат, орловский централ...

О том, что в орловской каторжной тюрьме творились невероятные вещи, мы слышали давно уже. Чтоб немного развеселить своих спутников и подбодрить самого себя, я еще до прибытия в Орел пробовал вышутить разделяемые нами опасения.

— Быть-может, все эти рассказы—просто арестантская беллетристика... Да и кроме того, что такое удар в лицо?! Простое сотрясение частиц и молекул!.. Есть из-за чего беспокоиться!—тараторил я, хотя у самого меня на сердце кошки скребли...

Часам к двенадцати нам принесли обед—только не в медной чашке, а в жестяной, выкрашенной снаружи и ржавой внутри маленькой лоханочке. После обеда нас вызвали в коридор, опять раздели и обыскали, и в сопровождении шести надзирателей отправили в централ. Было это в феврале 1912 г.

* * *

День был прелестный. Легкий морозец румянил щеки, грудь дышала глубоко, как бы спеша набраться побольше „вольного“ воздуха. Ветра никакого, солнце светило ярко, а глубокий снег, лежавший кругом большими сугробами,

отливал зеленоватыми бликами. Около ворот мы столкнулись с группой надзирателей, только-что сменившихся. Они выходили кучками и с громким, веселым хохотом, шутками, взвизгиваниями бросались снежками. Глядя на этих забавляющихся и школьничающих бородачей, как-то не верилось, что это и есть герои избиений и жестокостей.

В централе нас принял старший Новченко, маленького роста, толстый, с фельдфебельскими усами и комично-важной, точно на плацпараде, походкой; говорил он громким голосом, растягивая слова и оттопыривая нижнюю губу. Новченко этот, видимо, очень гордился своим званием старшего надзирателя, заведующего тюремным цейхгаузом.

— Раздеться догола!—скомандовал он, когда мы очутились в предбаннике.—Все скидывай!.. Живо!

Мы стали торопливо снимать с себя арестантскую одежду. Какой-то арестант молча сложил их в кучу и отодвинул в сторону, а сам старший стал записывать их в особую книгу.

— Это что?—спросил он меня, рассматривая фотографическую карточку, на которой сняты были мои знакомые.— Родные, что ли?

— Да, родные,—ответил я.

— Не „да“, а „так точно“. Здесь тебя научат, как отвечать. Сволочь!..

Часть моих книг была перевязана ремешком от подкандальника, в сумке же Арсентьева оказался кусочек карандаша.

— Откуда эти вещи?! — крикнул старший.—Не полагается! За это—в карцер! Бродяги, так и вашу мать— вас, видимо, разбаловали. Зато у нас-то вас уж исправят.

Вся эта канитель с оскорбительными замечаниями и издевательскими вопросами тянулась очень долго. В общем приемка сошла для нас довольно благополучно. Гораздо хуже было бы, если бы нас было много,—тогда нас специально поджидали бы десятки надзирателей—и взбучка была бы неизбежна.

— Сюда иди!—приказал он нам, указывая рукой по направлению к сеням. Мы, все еще совершенно голые, вышли в маленький холодный коридорчик. Фельдман, весь трясясь от холоду, стал голыми ногами не на мокрый от снега асфальтовый пол, а на раскинутое здесь грязное белье.

— Политика!.. Сволочь!..—заорал на него, весь побагровев, Новченко.—На полу стоять не хочешь!

Затем, выждав паузу и обдавая его взглядом, полным спеси и презрения, он крикнул:

— Руки вверх!.. Рот открой!

То же он скомандовал и нам двоим. Посмотрев под подмышки и заглянув в рот, он величественным и молчаливым жестом указал нам на дверь прачечной. Я ожидал, что он еще станет ковырять пальцем во рту, а также прикажет нагнуться, но на этот раз обошлось без этой процедуры. В прачечной за лоханками стояли каторжане, бледные и с запуганными лицами; словно немые, они молча стирали арестантское белье; не слышно было обычного в таких случаях смеха, шуток и прибауток. Кое-как ополоснув себя ряжкой теплой воды и одевшись во все здешнее, напялив наконец на голову грязные и до невероятности засаленные суконные шапки, мы в сопровождении все того же Новченко направились в одиночный корпус,—длинное из красного кирпича трехэтажное здание с полутемными коридорами.

В нескольких шагах от нас старик-лавочник выдавал разложенную кругом выписку: сахар, баранки, селедки, мыло и т. д. Каторжане то и дело приходили и уходили, делая это молча, на цыпочках, держась возле самой стены и пугливо озираясь по сторонам. Новченко передал нас отделенному надзирателю, невысокому, худому, с небольшим лицом, жидкими усами и маленькими черными глазами. Это был, как я потом узнал, надзиратель Богомолов. Держа одну руку в прямом кармане своих черных в обтяжку брюк, Богомолов быстро подошел и, кривя своими тонкими, безкровными губами, начал расспрашивать:

— Твоя фамилья как?.. А твоя?.. Ты за что осужден?.. А ты? А-а, все политики, значит!.. Ладно.

Вскоре пришел старший надзиратель, гвардейского телосложения щеголь. Глядя нам прямо в глаза, делая серьезное лицо, вихляя и ломаясь, он задал нам те же вопросы, что и принимавший нас помощник, что и Новченко, что и Богомолов. Переменив позу, Калафуто—так звали нашего старшего—обратился к нам с маленькою речью:

— Вот что,—начал он, рассматривая носки своих лакированных сапогов и изредка бросая на нас злые и явно недоброжелательные взгляды.—Вот что. Вы присланы сюда за плохое поведение... К нам на исправление... Смотрите же, ведите себя как следует... Все, что вам прикажет отделенный, исполняйте бес-пре-кослов-но... А не то... А не те, сволочи, вы здесь же и издохнете...

Все время я ожидал, что вот-вот нас начнут, наконец, бить. А тут, оказывается, дело ограничивается одной только словесностью и без кулачных комментариев. Об этом я шепнул Фельдману, с которым стоял рядом. Но не успел я еще отвернуть от него голову, как ко мне подскакивает Богомолов и со всего размаху ударяет в лицо.

— Ты это чего головой мотаешь, так и так твою мать! Стой как следует!—крикнул он, ударив меня вторично. У меня зазвенело в ушах, от неожиданности голова закружилась, и я совершенно растерялся. Фельдман и Арсентьев сразу побледнели и затряслись мелкой дрожью, зато стоявшие при этом старший Калафуто, старик-лавочник и каторжане, ожидавшие выписки, безразлично и вяло посмотрели в нашу сторону.

— Марш по камерам!—крикнул Калафуто.

Одиночка, в которой я очутился, представляла собою небольшую комнату со сводчатым потолком, высоким окном, железной койкой—трубчатая рама с натянутым брезентом, железным столиком и обычной парашкой. В середине толстой, обитой железом двери была форточка, а над нею отверстие с конусообразным углублением, прикрытое снаружи железным кружочком. Не успел я еще как следует осмотреться, как открылась дверь и послышалась громкая команда:

— Смиррно!..

На пороге показался отделенный. Я отошел в угол. Богомолов, не говоря ни единого слова, берет меня за шиворот, ставит посредине камеры неподалеку от железного столика, затем так же молча, словно обращаясь с неодушевленным предметом, носками сапога сбивает мои ноги вместе и говорит:

— Вот здесь и вот так—руки по швам— ты должен стоять, когда кто-нибудь к тебе заходит... То же и на утренней и вечерней поверке... То же—всякий раз, когда надзиратель посмотрит в глазок... И только, когда поверка пройдет и ты останешься один, или когда глазок закроется, ты можешь сойти с места. Понял?.. Когда к тебе захожу я, или старший, или помощник, или сам господин начальник, и с тобою поздоровкаются, ты должен отвечать громко и отчетливо: „здравия желаю, господин отделенный“, или там: „господин старший“, или же: „ваше высокоблагородие“... Только слов не растягивай, а отвечай быстро, вот так: „Здржлав, господин длен“, или: „Здржлав, вашскбродь!“...

Так запомни же! Стены, подоконник, пол—все должно блестеть, как зеркало... Медная посуда чтоб горела, как огонь... Нигде чтоб ни пылинки. В парашке и под парашкой—чтоб была чистота и порядок, а не то, так и так твою мать, я тебе задам!.. Одеяло складывай вот так, смотри! На все вопросы ты должен отвечать так: „Так точно“... „Никак нет“... „Слушаюсь“... „Чего изволите“... Чтоб не было никаких „да“ или „нет“. Помни-и!

Сделав маленькую паузу, Богомолов прибавил:

— Первый месяц ты будешь без книг, без переписки, без выписки. А потом посмотрим: ежели не так поведешь себя, то и в задницу получишь...

Пока он все это выкладывал, я случайно посмотрел на дверной глазок. Везде в эти волчки вставляются толстые стеклышки, так что услышать, как надзиратель открывает снаружи крышечку глазка, довольно мудрено, особенно если чем-нибудь занят. Я и имел глупость задать Богомолову вопрос в этом смысле. Но вместо того, чтоб указать мне, что здешние волчки без стеклышек, как это я сам заметил впоследствии,—отделенный, не говоря ни слова, ударяет меня в лицо и кричит:

— Так и так твою мать!.. Что за х—ские вопросы ты мне задаешь! Ты слушай, что тебе говорят: когда над-зи-ра-тель по-смот-рит в вол-чок, ты должен сейчас же стать посредине и во фрунт... И без никаких!

Тут Богомолова зачем-то позвали в коридор, и он меня оставил.

В этот день по случаю воскресенья поверка началась рано, часов в пять вечера. Сознание, что до самого утра я буду один и никто ко мне не зайдет, на минуту приподняло мое самочувствие. С огромным наслаждением растянулся я на узенькой и холодной брезентовой койке. Пережитые в этот день впечатления, двукратные побои, думы и размышления о том, что меня ждет в дальнейшем, все это сильно меня взволновало и расстроило. Долго-долго я не мог заснуть.

* * *

На следующий день, ровно в $4^3/_4$ ч. утра раздались четыре редких удара в колокол,—то был сигнал, означавший приказание встать. Не успел я еще соскочить с койки, как услышал покрикивания надзирателя, обходившего дверные глазки:

— Эй, сво-о-лочь, чего растягиваешься?.. Звонок слышал?.. Чего ж не встаешь, так и так твою мать!.. Холера!

Наконец прошла и утренняя поверка. Дежурные стали выпускать арестантов на оправку. Я наскоро прибрал свою камеру и стал прислушиваться к тому, что делается в коридоре. Там царил ужасный шум и гомон. Звон от кандалов, хлопанье с треском открываемых и закрываемых дверей, матерная брань и похабные реплики надзирателей, стоны каторжан, избиваемых за то, что не так скоро умылся, или за то, что не сразу попал в свою одиночку,—все это сливалось в адскую какофонию. Одновременно с оправкой производилась и раздача хлеба и кипятку, и это еще больше усиливало суматоху и суетню.

Вот с шумом открывается дверь моей камеры, и сам Богомолов кричит своим хриповатым голосом:

— Выходи-и!..

Я быстро хватаю парашку и выскакиваю в коридор. Там меня уже ждут три человека, среди них я сразу узнаю Арсентьева, щурящего свои близорукие глаза,—очки у него отобрали еще при приемке.

— Шагом ммарш! Живо! Ну!!—крикнул Богомолов, и все мы что есть силы устремляемся к клозету, стараясь удерживать в равновесии полные парашки.

— Когда тебя выпустят на оправку первым...—начал что-то говорить шагавший за мною отделенный. Чтоб лучше расслышать его слова, я чуть-чуть отогнул назад голову, но тут же несколько сильных ударов связкой ключей по шее заставили меня нагнуться вперед.

— Ты чего отстаешь!—крикнул Богомолов, снова ударяя меня ключами по спине.—Ты глухой, что ли, так и так твою мать!

Вбежав в уборную, двое из нас бросились немедленно опоражнивать посуду, а двое других подскочили к умывальнику. Какой-то старик с интеллигентным лицом, в кандалах и со следами от очков на переносице и возле ушей, не мог сразу нащупать стержень от умывального крана. Богомолов, стоявший на пороге уборной и торопивший нас своими понуканиями, с размаху ударил его ключами в спину.

— Куда смотришь, косая блядь!—закричал он.—Не видишь, где кран?.. Мойся, сволочь!.. Чтоб живо мне!

Не успел я еще провести мокрой рукой по лицу, как услышал новую команду:

— Кончай!.. Бросай!.. Шагом марш!.. Бегом!..

Мы все четверо схватываем парашки и бежим назад в свои одиночки. Об употреблении полотенца и мыла—и говорить нечего. Не только новички, которым в течение первого месяца воспрещалось выписывать что-либо на собственные деньги (это только в Орле так было), но и старожилы не могли в то время думать о такой роскоши, как пользование мылом при утренней оправке,—до того ничтожно было время, которое давалось на уборку.

В камере меня ожидал уже кипяток. Наш одиночный корпус построен был по последнему слову тюремной техники, но кипяток приносился туда из кухни в тех же ушатах, что и щи с кашей, и раздавался по камерам в медных кувшинчиках, так что скоро остывал. К тому же кухонные котлы, должно-быть, вовсе не чистились, и потому вода всегда была мутная от разваренной накипи.

Часов в одиннадцать принесли обед—жидкую водичку с капустой и двумя маленькими квадратиками мяса, вырезанными из бычьего уха или губы. Каша, та самая каша, которая привела в восхищение надзирателя из губернской тюрьмы, действительно, давалась каждый день, но в количестве, достаточном, чтоб утолить голод не взрослого человека, а взрослого воробья. По средам и пятницам обед был постный, полагалась рыба, но от нее в бочке оставался один только дух, а материя, согласно законам превращения вещества, оседала в виде золота или бумажек в широких карманах начальства. Ужин—белая или черная кашица из крупы—отпускался только устава ради,—питательное значение его немного выше нуля. Два раза выдавался также квас.

Зато в орловском централе можно было делать выписку в размере гораздо большем, чем на те 4 р. 20 к., которые главное тюремное управление назначило максимальной нормой. Сверх этого можно было выписывать еще масло и молоко. Эти два обстоятельства, почти неизвестные во многих каторжных тюрьмах с сравнительно сносными порядками, как-то не гармонировали с общим духом орловщины. Справедливости и беспристрастия ради я должен упомянуть еще об одном приятном обстоятельстве: вопреки ясному постановлению главного тюремного управления, у нас в Орле письма писались тогда не один раз в месяц, а раз в две недели,—льгота почти неизвестная в других централах.

На другой день после обеда снова открылась дверь. Надзиратель крикнул:

— Сми-и-рно!..—и на пороге появился все тот же отделенный. Я стал посредине одиночки. Богомолов быстрым взглядом осмотрел всю камеру и произнес:

— Здорово!

— Здравия желаю, господин отделенный! — ответил я громко.

Начался осмотр. Отделенный открыл стульчак парашки, провел пальцем по стене, подошел к полке,—везде ни пылинки. Рванул он койку, но и там одеяло было сложено как „полагается“, т.-е. не вдоль, а поперек. По правде сказать, вышло это у меня совершенно случайно, не то мне досталось бы: многих товарищей, не обративших внимания на это обстоятельство, отделенный угощал кулаками,—припоминаю, например, социал-демократа Янсона, которого он избил именно за это. Осмотрев мой бушлат, лишь вчера выданный из цейхгауза, Богомолов сказал, указывая на воротник:

— Тут крючок должен быть... Тебе сейчас дадут пуговицу и иголку, и ты пришьешь...

Взяв в руки медные бачек, кувшин и кружку и убедившись, что они вычищены мною достаточно старательно, Богомолов подошел к койке, чтоб посмотреть, как я сложил одеяло, но, вспомнив, что он уже сделал это, он с досадой захлопнул ее: выходит, что у меня все в порядке. Но как же уйти, не напомнив мне, где именно я нахожусь.

— Тебя за что сюда прислали?—вдруг спрашивает он меня. На этот вопрос я ему ответил уже вчера.

— Не знаю... сам не знаю,—говорю я. Но тут у меня зазвенело в ушах и в глазах потемнело. Сильным ударом в лицо Богомолов сшиб меня с места.

— Это что за: *„не знаю“!..*—*„Не могу знать, господин отделенный“*,—вот как отвечать надо, так и так твою мать!.. Стань на место!—Сказав это, он еще раз ударил меня и вышел.

Так прошел день второй. День третий был для меня самый памятный и наиболее характерный для здешних порядков. При этом не мешает иметь в виду, что человек я расторопный и проворный, давно уже сижу в тюрьме и легко усваиваю казарменную премудрость в роде той, что здесь преподается. Будь я менее ловок, мне попадало бы раз в десять больше, как и попадало тем каторжанам,

крики и стоны которых раздавались в нашем одиночном корпусе *буквально каждый день.*

Заходит ко мне старший, а вслед за ним и Богомолов. В руках у Калафуто мой арестантский билет.

— Здорово!—кричит он, подходя ко мне почти вплотную.

— Здравия желаю, господин старший!

— Тихо отвечаешь!.. Громче надо!.. Ну: здорово!

Я ответил еще раз, только громче.

— Ты политический?—начал он свои расспросы, проверяя мои ответы по билету. Я подтвердил это.

— За восстание?.. — Но ты ведь не военный был, а штатский?

— Штатский.

— Осужден на сколько? На десять?

— На десять лет.

Калафуто многозначительно посмотрел мне прямо в глаза, смекнув, что я сознательно избегаю этих холуйских „так точно“, „никак нет“. Лицо его перекосилось. Можно было ожидать какой-нибудь неприятности.

— А сюда тебя из Москвы прислали?

— Так точно,—ответил я, чтоб предупредить несомненно готовившийся удар. Старший улыбнулся и сказал:

— Ну вот... А тебе уже все сказали: как отвечать начальству, насчет чистоты и одежи?

Не успел я ответить ему, как Богомолов дергает меня за шею, грубо щупает воротник моего бушлата и говорит:

— А крючок отчего не пришил сюда, а? Ведь я говорил тебе, что пришить надо!—С этими словами он ударяет меня в лицо.

— Да я ожидал, что мне дадут крючок и иголку,—пытаюсь я возразить.

— Ожидал?!.. А напомнить мне не мог? Ты что за барин такой, так и так твою мать!

Я молчу, думаю, авось этим кончится.

— Ты чего же молчишь, а? Я кому говорю?—не унимался Богомолов.

— Да я слышу.

— Не: „слышу“, а: „слушаюсь, господин отделенный!“,—вот как отвечать надо.—С этими словами он снова ударил меня в ухо.

— Ну, „слушаюсь“, — говорю я, желая скорее от него отделаться.

— Ты что же это все: „слушаюсь“, „слушаюсь“, а при-

казаний не исполняешь!.. Двадцать раз тебе говорить надо? Ты один здесь у меня!!!

Тут Богомолов ударил меня в грудь, да с такой силой, что я отлетел в угол.

— Куда пошел?.. Стань на место!.. Вот сюда!—закричал он, толкая меня в шею. Все это происходило на глазах у Калафуто, равнодушно смотревшего на действия отделенного.

— Ну, ладно, оставьте его... Дайте ему крючок и нитки, пусть зашьет,—сказал наконец старший, поворачиваясь к выходу.—Да смотри, чтоб пол был почище! — бросил он, становясь на порог.

При напоминании о поле Богомолов, который вчера не сказал по этому поводу ни слова, встрепенулся. В камере хотя и было очень чисто, но при всем желании я не мог придать изрытому и исковерканному асфальту блестящий вид.

— Я тебе говорил, чтоб пол блестел, как зеркало!—снова закричал отделенный.—Это что за пол!.. Возьми суконку!.. Три!..

Я схватываю из стульчака парашки пару суконок и, как был в широком и неуклюжем бушлате, сел на корточки и изо всех сил стал тереть асфальт. Но удар ключами по спине неожиданно прервал мою работу.

— Не на корточках, а на коленях надо, так и так твою мать!—крикнул Богомолов. Отпихнув меня ударом ноги, он сам стал на колени и принялся натирать суконкой место под койкой: по этому месту никто не ходит, асфальт был там почти не тронут, и у него вскоре, действительно, получился матовый блеск.

— Вот как надо, видишь!—произнес он, вставая и швыряя мне в лицо пропитанную керосином суконку.—Я зайду через десять минут, и если весь пол не будет у тебя, как зеркало, я тебе морду расквашу!

Оставшись один, я скинул бушлат и принялся за дело. От постоянной ходьбы по полу асфальт сделался корявым, и придать ему блеск было почти невозможно. Весь потный и мокрый, с ощущением боли в спине, шее и в ушах, я прислонился к койке.

„Что же будет дальше?—подумал я.—Неужели каждый день терпеть подобные визиты? Да и как предупредить это? Кажется, и так уже согнулся до последней возможности... Или пойти на риск и на удар ответить ударом? Или объ-

явить голодовку? Или в виде протеста сделать что-нибудь с собою? Повеситься, облить себя керосином?“—лихорадочно зашевелилось в голове. На сердце скребли кошки. Было гадко и противно.—„Эх!—подумал я вдруг с горечью,—надо было с самого же начала достойно ответить на первый удар. А то что же это за политический, над которым какой-нибудь хулиган безнаказанно издевается!.. Но вот вопрос: как ведут себя здесь остальные товарищи? Ведь здесь находятся и такие боевики, которые на воле участвовали в предприятиях, изумительных по своей смелости и отваге: неужели и они мирятся с таким режимом?“ Подобные мысли беспокойно путались в воспаленном мозгу. Но нужно же найти какой-нибудь выход!

Мало-по-малу положение стало выясняться. В самом деле, объявить голодовку или покончить с собою всегда успеешь,—успокаивал я себя. Пока что необходимо ориентироваться, завязать сношения с остальными. Слева, в 25-й одиночке никого не было, а из 23-й, куда я попробовал стучать, никто не ответил: должно-быть, боится *). Остается, значит, поговорить с публикой на прогулке. Авось найдется достаточно охотников выступить с протестом. Но отчего это не выпускают меня на прогулку?.. Вот уже три дня, как я торчу в одиночке... Надо спросить дежурного, когда он откроет форточку при раздаче кипятку. Каково же было мое отчаяние, когда я узнал, что по здешним правилам все вновоприбывшие *в течение целого месяца совершенно не выпускаются на двор*... Целый месяц! Целый месяц я буду один, не увижу никого из остальных каторжан, не сумею ни с кем поговорить и наметить себе линию поведения... Ловко же придумали, чорт побери! Сразу оглушают человека, и чтоб еще больше обессилить его, утомить энергию и притупить чувство протеста, держат его столько времени изолированным... „А вот опять кто-то кричит!—говорю я вслух, приближаясь к дверям.—Надзиратель похабно ругается... Опять... Упал на пол, гремя цепями... Но как долго бьют его!..“ Бух, бух, бух!.. „Ай-ай... Караул!.. За что?.. Товарищи!.. Ой-ой!.. Помо-

*) Впоследствии я узнал, что перестукивание, ставшее обычным и узаконенным способом сношений в других тюрьмах, здесь строго преследуется. Так, тот же Богомолов избил за это с.-р. Матлина: схватив его за голову, он бил его по стенке до тех пор, пока она не вспухла; семидневный карцер последовал, разумеется, сам собою.

гите!“—неслось из какой-то одиночки недалеко от моей камеры. Крики эти ужасно расстраивают. Стоишь и чувствуешь, как все в тебе трепещет и кипит. Сердце вдруг начинает учащенно биться, в висках стучит, а голова, словно в нее колют сотнями булавок, испытывает невероятные боли.

Около моей одиночки раздался чей-то продолжительный шопот. Слышу, как называют мою фамилию. Кто-то посмотрел в глазок, и не успел я еще стать во фронт, как с шумом отворилась дверь, и дежурный надзиратель крикнул:

— Фамилия?.. Имя?.. Ну, собирай свои вещи!.. Живей!.. Не копайся!..

Я на миг остолбенел от радости. Что такое,—думаю,—неужели на этап?!.. Переводят в другую тюрьму?.. Я уже так привык кочевать по тюрьмам и централам, что подобное предположение казалось мне весьма вероятным. Сорвав с койки казенное одеяло, быстро завернув в него соломенную подушку и сумку с хлебом, я торопливо устремился к выходу.

— Ку-у-да!?.. Куда прешь, сволочь!.. Наверх ступай!!—заорал надзиратель.

У меня сердце упало. Оказывается, меня просто переводят в другую камеру. Этапы с воли приходили тогда очень часто, и их обыкновенно размещали в первом этаже, чтоб они всегда были под рукой у наших тюремных педагогов, так что внизу происходила постоянная перетасовка каторжан. На втором этаже, возле площадки я заметил фигуру нашего старшего.

— Сюда!—крикнул он, направляясь к 88-й одиночке.—Вот здесь сидеть будешь!.. Смотри, пол мне не запускай!—прибавил он, впуская меня в камеру. Сказал он это довольно просто, без наглых ноток в голосе. „А что, если потолковать с ним относительно избиений?“—подумал я мгновенно и с обычной своей экспансивностью тут же обратился к нему:

— Господин старший! Нельзя ли, чтоб меня здесь не трогали?.. Ведь вы сами видели, что меня били здесь зря, ни за что ни про что...

В ответ на мои слова последовало буквально следующее:

— Ах, так и рас-так твою мать!—заревел на весь коридор Калафуто, ударив меня кулаком. Его зеленоватые глаза вмиг потемнели, а лицо, и без того красное, совсем

побагровело. Должно-быть, мои слова заключали в себе нечто, по его мнению, сверхвозмутительное. —Ишь, с какими просьбами ко мне обращается!.. Если ты, так и так твою мать, не будешь вести себя как следует, твоя морда сто раз в день в крови будет...—С этими словами он еще раз ударил меня в лицо и вышел.

88-я камера производила гораздо лучшее впечатление, чем та, в которой я жил раньше. Койка, брезент, стол—все было цело и солидно, сделано из наилучшего материала. Свету было много, тепла тоже. Асфальтовый пол был ровен, как лист бумаги, и блестел, действительно, как зеркало. Насупротив парашки была прибита литографированная на жести икона с изображением Иисуса и надписью: „Заповедь новую даю вам: любите друг друга". Здесь, в орловской каторжной тюрьме, изречение это звучало кощунством и издевательством.

Два раза в месяц у нас можно было писать прошения. У меня в псковской тюрьме остались собственные книги, и я собирался выписать их оттуда.

— Ты кому писать будешь?.. О чем?.. Насчет каких-таких собственных книг?..—такими вопросами засыпал меня дежурный, отмечая на бумажке мою фамилию. Приблизительно через час кто-то снаружи открыл глазок и заговорил со мною. Я соскакиваю со скамейки, на которой сидел целыми часами, и становлюсь возле нее во фронт. Отделенный—это был он—задал мне те же вопросы, но вдруг оборвал, с грохотом открыл дверь и, подходя ко мне поближе, начал бить в лицо.

— Ах, так и так твою мать!.. Сколько же раз я тебя учить должен?!.. Я же тебе говорил: когда открывается глазок, надо становиться *возле стола*, а не возле скамейки... Вот здесь,—видишь!

Он ушел, а я так и остался стоять огорошенный и ошеломленный.

Собственно говоря, пребывание в одиночке, взятое само по себе, было мне весьма по вкусу. Общая камера с ее вечным шумом и гамом порядком расстраивает. Лишь в редких случаях, и то лишь при наличности большого числа политических, удается выработать нечто в роде камерной конституции, распределить время для занятий, для общих разговоров, для моциона и т. д. Но даже и в этом случае почти не бываешь предоставлен самому себе. Ни серьезно позаняться, ни сосредоточиться на чем-нибудь.

Один ходит по камере и без умолку гремит кандалами, другой о чем-то с хохотом рассказывает, третий, ругаясь, дуется азартно с кем-то в карты, тому вздумалось читать вслух, а эти затеяли бесконечный спор на какую-нибудь бесконечную тему. Тут еще неизбежная в общей камере грязь, вонь, курение махорки, война из-за форточек, вечные ссоры, дрязги, сплетни.

Не то в одиночке, особенно для человека, склонного к обособленности. Отсутствие внешних впечатлений создает обширный внутренний мир, который сам же населяешь обстановкой и живыми образами. Десятки и сотни раз пересматриваешь свое прошлое, углубляешься в самые отдаленные и потаенные его закоулки. Все, решительно все, что с тобою когда-то было, что делал и даже что собирался делать, передумываешь и переоцениваешь. Эти очные ставки с самим собою, со своею совестью, со своими убеждениями, это микроскопическое копанье в своей душе несомненно очищает ее. На этом, вероятно, и основывается отстаивание многими криминалистами системы одиночного заключения. Зато система эта имеет и свои отрицательные стороны. Тут не только слух и впечатлительность развиваются до болезненности, и сны приобретают удивительную реалистичность, с поразительной правдоподобностью проявляя глубочайшие и интимнейшие свойства человека, но и появляется склонность к мечтательности и прожектированию. Не знающая удержу фантазия совершает свои грандиозные полеты, по-новому комбинирует и корректирует исторические события. Бывало, читаешь что-нибудь и тотчас же воображаешь себя на месте героя,—иной раз дело доходит до форменных галлюцинаций, до разговоров с самим собою. Ходишь так по камере, подобрав кандалы, ораторствуешь, жестикулируешь, пока что-нибудь не остановит тебя. Тогда ловишь себя на этом и хохочешь. Но потом какой-нибудь отрывочный кусочек новости, полученной с воли, или какое-нибудь место из журнала или книги снова окрыляет твою фантазию, и ты снова незаметно втягиваешься в пряденье событий. Нередко погружаешься и в планы мести, самой злобной и утонченно-кровожадной мести за все обиды и оскорбления...

Однажды, когда я, забывшись от тяжелой, как свинец, и тягучей, как скука, безрадостной действительности, всецело погрузился в разрисовывание архитектурных подробностей одного из своих воздушных замков, в ушах у меня прозвенело:

— Смиррна—а!..

То кричал внизу сам старший. Команда эта раздавалась каждый раз, когда в одиночный корпус приходил кто-нибудь из начальства, хотя бы в коридоре, кроме надзирателей, не было ни одного арестанта. Теперь команда эта прозвучала как-то особенно торжественно. Можно было догадываться, что явилось лицо, стоящее еще выше начальника тюрьмы. Я насторожился. Вот слышу, как Калафуто подходит к кому-то и рапортует, что в одиночном корпусе орловского исправительного отделения находится 283 человека, что никаких происшествий не случилось, и что все обстоит благополучно. Слышу, как чьи-то шаги поднимаются вверх по лестнице и направляются к моей камере. Открывается дверь, и после нового ушираздирательного „смирррно“ ко мне вошли два человека. За ними мелькнули фигуры надзирателей.

Один из вошедших, среднего роста, худой и тощий блондин, с маленьким лицом и лучистыми голубыми глазами, был сам губернский инспектор Николай Сербинов. Другой— очень высокий, с круглой, выдвинутою вперед грудью, с мелкими чертами помятого белобрысого лица, в офицерской шинели и фуражке, был начальник нашей тюрьмы, поручик Михаил Синайский. Я поспешил стать посредине камеры—только уж не рядом со скамейкой—упаси Боже!— а неподалеку от железного столика.

— Ты такой-то?... Статья политическая?... Из Пскова?.. А-а!.. Ну-с, как ты ведешь себя здесь?—начал он сразу и, не давая ответить, продолжал: — Все вы, псковские, присланы сюда за голодовку и будете под моим непосредственным наблюдением... Я полагаю... я даже убежден, что здесь-то ты будешь вести себя спокойно... А какого его поведение? — обратился он не то к начальнику, не то к старшему.

— Пока ничего себе, вашеско́родь! — громко отчеканил Калафуто.

Произошла маленькая заминка.

— Нет ли у тебя каких просьб, заявлений?—задал инспектор обычный в таких случаях вопрос.

„Не заявить ли ему обо всем, что тут делается?—мелькнуло у меня в голове.—Не возьмет ли он меня не только под свое непосредственное наблюдение, но и под свое непосредственное покровительство?..“

Обыкновенно очень быстрый на решения, я на этот раз

почему-то уклонился от беседы с инспектором. Какое-то предчувствие, да и самый тон его обращения подсказали мне, что Сербинову и так все известно, и что за жалобу мне потом попадет еще больше. Впоследствии старожилы одобрили эту мою осторожность и приводили подходящие к тому примеры: уже одна судьба несчастного Бейлина, выпоротого по такому же поводу и умершего сумасшедшим— чего стоит!

— Ни просьб ни заявлений у меня нет,—ответил я.

Постояв еще с минуту, инспектор повернулся к выходу. На пороге он остановился и сказал шедшему сзади начальнику:

— Смотреть за ним получше!.. Потом, дайте ему работу.

Вследствие ли этого визита, или же потому, что из Москвы прибыли уже мои бумаги и местное начальство познакомилось с отзывами о моем поведении, но дня через три после этого ко мне вдруг, перед самой вечерней поверкой, явились с обыском. Что они у меня искали? Из камеры меня никуда не пускали, прогулки не давали, а коридорные были у нас все из лягавых, и получить что-нибудь через них было невозможно.

Вошло ко мне три надзирателя. Один из них, к мужицкому лицу которого ужасно не шел мундир тюремного стража, стал рыться в стульчаке парашки и в вентиляционной отдушине; Калафуто что-то искал в ящике, где кроме пайка черного хлеба да медной солонки ничего не было, так как выписывать съестное мне, как новоприбывшему, еще не разрешено было. Моей особой занялся сам Богомолов. Я стою посредине камеры и смотрю впереди себя.

— Ты чего голову задрал!—крикнул отделенный, ударяя меня кулаком в затылок. — Стой как следует! — повторил он, ударяя меня не сверху вниз, а снизу вверх в подбородок, да так, что треснули все мои 32 зуба и я укусил себе язык.—Скидавай бушлат!.. Расстегивай штаны!.. Коты сними!

Я торопливо разделся, и Богомолов стал ощупывать меня. Изо рта от него шел гнилостный запах, его противное лицо так и мелькало пред моими глазами, а его твердые пальцы то и дело прохаживались по моему телу. Я с трудом подавлял в себе чувство гадливости и отвращения.

— Ты чего трясешься, так и так твою мать!—произнес сзади Калафуто над самым моим ухом,—или опять в морду

захотел?.. Когда к тебе входит начальство, ты стой как вкопанный!..

Перерыв у меня все, что можно было перерыть, надзиратели ушли, не найдя у меня, разумеется, ничего предосудительного.

Вскоре после этого мне дали работу. Ведь известно, что тюремный труд должен исправлять арестантов. Однажды ко мне впустили какого-то высокого молодого человека с желтовато-бледным лицом и отрубленным ухом. В руках он держал простыню с соломой, деревянной бутылкой и нитками. Без всяких предисловий, не здороваясь и не глядя на меня („не полагается“!), он подошел к моему столику и громким, нарочито деловитым голосом стал показывать мне работу: из принесенной им соломы нужно сшивать колпаки для винных бутылок. Когда надзирателя куда-то позвали, арестант этот, волнуясь и заикаясь, ежесекундно оглядываясь, словно он совершает нечто рискованное и опасное, начал расспрашивать про новости с воли, про манифест (который будет лишь через год!) и т. д. При этом я узнал, что сам он н. п. с—вец, что фамилия его—Казмирчук, что он был приговорен к смертной казни, что ухо ему отрубил казак во время демонстрации и, наконец, что здесь в Орле плохо, ой, как плохо.

Сама работа заключалась в следующем: заранее заготовленную на особых станках солому надевают на деревянную бутылку и специальной иглой обшивают низ и середину. Солома грязная, пыльная, каждый пучок приходится вертеть десятки раз и на десяток ладов, — в результате пол, стены, а также уши, нос, рот — все это полно перетертою соломенною пылью. В первые дни нас не очень торопили, но потом Богомолов стал каждое утро обходить всех работающих, записывал число сшитых колпаков, и если кто отставал от назначенной им нормы, того он наказывал похабною словесностью и побоями. Какой-то каторжанин Шкляр (меня уверили, что он — политический), желая отличиться, однажды сработал штук на двадцать свыше нормы и за это удостоился громкой на весь коридор похвалы. Зато многие другие (припоминаю социал-демократа Мирского и одного уголовного, Тернового, истощенного и прыщеватого юношу), сработавшие меньше нормы, были жестоко избиты.

При Синайском эта противная работа начиналась с пяти часов утра, а летом, когда нас будили в 3¾ утра, еще

ранные. Утренняя суматоха с ее беготней на оправку, звоном кандалов, руганью, понуканиями, хлопаньем дверей и форточек, колотушками и криками — благодаря этой работе делалась еще большею. Не успеешь проглотить последний кусок, как сейчас же принимайся за соломенные колпаки, при этом страх отстать от нормы и быть избитым побуждал спешить и торопиться, так что после обеда не позволяешь себе и десятиминутного отдыха.

У нас в орловском централе заработки арестантов, вообще, были нищенские, на этой же работе *редко кто зарабатывал больше десяти копеек в месяц.* Тюремная администрация настолько твердо верила в исправительное значение тюремной работы, что, когда кончился этот подряд, нас засадили за другую милую работу: *щипанье гусиных перьев.* Представьте себе здоровенных и пожилых мужчин, присужденных к *тяжким каторжным работам,* за этим занятием...

* * *

Как новоприбывший, я больше сяца просидел без выписки, без книг и переписки. Прогулка тоже „не полагалась“ мне. Но не на много лучше чувствовали себя и старожилы. Регулярной и обязательной прогулки у нас не было. Главную роль играло тут усмотрение старших и отделенных надзирателей. До весны 1913 года не было ни одной недели, чтобы мы гуляли ежедневно. Даже бессрочные, которым свежий воздух нужен был больше, чем кому бы то ни было, выпускались не больше 2 — 3 раз в неделю. Бывали периоды, когда мы не оставляли камер *дней десять-двенадцать под ряд.* То отделенному некогда возиться с таким пустячным делом, то ему кажется, что собирается дождь, то скоро должна начаться поверка.

На прогулку я возлагал много надежд. Мне до тошноты прискучило одиночество, захотелось пройтись на свежем воздухе, а главное,—я рассчитывал поговорить кое с кем и ориентироваться в положении вещей. Велика была моя радость, когда однажды — дней через 27 после моего прибытия в Орел — открылась дверь моей одиночки и надзиратель крикнул:

— Бери шапку!.. Гони на низ!.. Живо!..

Внизу у левой стены стояла уже партия каторжан, выстроившихся в затылок по два человека. Стояли они не шелохнувшись, вытянув руки по швам и упорно глядя

пред собою в одну точку. Стараясь не быть замеченным, я осторожно озирался по сторонам, приглядываясь к арестантам и высматривая кого-нибудь из знакомых. Давно замечено, что каждая историческая эпоха и каждая страна создает особый тип людей, отличающихся друг от друга даже по внешнему облику и по манерам, — сравните, например, простолюдина средневековой и современной Англии, или—американского фермера, которому никто не мешает попасть в губернаторы, и российского крестьянина, который дрожит пред кокардой урядника. Точно также и каждая тюрьма вырабатывает свой особый тип арестанта. Там, где порядки хоть сколько-нибудь похожи на человеческие, там и арестанты похожи на людей. В Орле же на всех лицах видишь выражение подавленности, отпечаток бесправности положения и безнадежности протеста. Не только уголовные, но и политические, не только случайно попавшие на каторгу, но и люди, много раз сидевшие в тюрьме, были какие-то приниженные и запуганные. Даже интеллигентные и самостоятельные балдели и робели, напряженно стараясь угадать, как вести себя, чтобы этим предупредить каприз и рукоприкладство надзирателя. Припоминаю, например, старого партийного работника В—ского, арестованного на конференции профессиональных союзов и осужденного в каторгу за принадлежность к социал-демократической партии. Старик-инженер, живавший за границей, а до этого много лет проведший в ссылке в мерзлом Верхоянске, он пред нашими надзирателями становился во фронт, словно солдат пред генералом, почтительно отчеканивал „так точно“ и „чего изволите“, или страха ради делал выписку коридорным из лягавых, заведомым предателям и негодяям. Смотреть на это было и жалко и противно. Всматриваясь в придавленные, а порой и угодливые физиономии арестантов, я с ужасом думал: „неужели и на твоем лице написано то же самое?..“

Возвращаюсь к прогулке. Став кому-то в затылок, я присматривался к тому, что кругом делалось. Отделенный важно расхаживал по коридору и отпускал пощечины тому или другому, — поводов для этого искать долго не приходилось: тот не так держит руки по швам, другой, спускаясь с лестницы, не придерживает кандалов, третий на какой-то неожиданный вопрос взял да и выпалил: „да“, вместо: „так точно“. Когда набралось человек сорок, отделенный заговорил своим хрипловатым голосом:

— На прогулке ходить по два человека!.. Расстояние— на протянутую руку!.. Пара от пары—на три шага!.. Без разговоров!.. Слушайся команды!..

Держа руки в передних карманах брюк и величественно покачивая торсом, Богомолов гаркнул:

— На-а-кройсь!!..

Все сразу надели шапки. Выждав паузу, он снова закричал:

— На ле-е-во-оп!

Все сразу и в такт позванивая кандалами повернули налево.

— Шэээгоом...—тянет господин отделенный, зорко оглядывая всю линию, и вдруг сразу выпаливает:—ммерш!

По команде „шагом марш!“ все поворачивают к выходу.

— Раз, два, три, четыре... Левой, левой... Не отставать, так и так вашу мать!.. Ногу держи!.. Сволочь!.. Раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре...—кричит надзиратель, когда мы проходим по длинному коридору. Вот мы уже на дворе. Посредине его имеется убитый щебнем круг, по которому, собственно, и совершается прогулка. Почти у самой стены, отделяющей одиночный корпус от общего, устроена высокая башня, на которой стоит надзиратель с ружьем, тут же имеется будка, возле которой расхаживает другой надзиратель с винтовкой. Кроме отделенного или старшего, нас сопровождает еще несколько дядек.

— Первые ряды на месте!—раздается новая команда, как только задняя пара вышла из коридора.—Дистанция!.. Не налезай!.. Помни расстояние!.. Шээгом ммерш!..

Начинается прогулка. Надзиратели все время следят за тем, чтоб арестанты ходили в ногу и в такт беспрерывно раздающейся команды: раз, два, три, четыре... левой, левой... Многие каторжане из числа недавно прибывших до того напуганы и расстроены, а ножные кандалы до того затрудняют движение, что они не поспевают за командой и часто сбиваются. Особенно плохо старикам-инородцам, в большом количестве прибывающим к нам с Кавказа и Туркестана. Руки они держат как-то смешно, прижимая их вплотную к бокам и растопыривая пальцы, русского языка не знают и то и дело путают команду. За это тут же на месте следует немедленная расправа кулаками или связкой дверных ключей.

— Ты чего ногой болтаешь, как х—м в бутылке!— кричит сам Калафуто, употребляя свое любимое и довольно-

таки бессмысленное, но зато пряно-похабное сравнение.— Ходи как следует!.. Короче шаг! Прямей держи!.. Не налезай... Раз, два, три, четыре... Левой, левой...

Все мы давно уже вспотели, ходим напряженные, стараясь не отставать и в то же время держа дистанцию, то меняем ногу, то задерживаем шаг. Вот кто-то спутал такт и за это сейчас же получает воздаяние. Шагаем мы так, шагаем, вдруг раздается команда:

— Круугоом...

Тут наступило настоящее смятение. Пара каторжан, шедших спереди, и некоторые из середины повернули кругом назад и столкнулись с другими, продолжавшими ходить вперед. Не понимая, что бы это значило, бледные и испуганные, боясь обратить на себя внимание надзирателя и в то же время не зная, что им делать, они отошли в сторону. Ряды расстроились, прогулка приостановилась.

— Ах, сукины сыны, так и так, рас-так и пере-так вашу мать!..—ругается во-всю господин отделенный.— Сволочи!.. Бродяги!.. Не знаете, как ходить!..

Уснащая свою речь самой отборной похабной словесностью, он кричит на весь двор:

— Слушайся команды!.. Когда я говорю: кругом,—это значит: готовься и жди, а когда я скажу: ммарш,—тогда только поворачивайся назад и ходи дальше вот так...— Стройся заново!.. Становись каждый где стоял... Дистанция, так вашу мать!.. Ну: шээгоом... ммэрш! Раз, два, три, четыре... Левой, левой!..

Дав нам сделать круг, он крикнул:

— Кру-у-у-у-гом...—все мы продолжаем ходить,— ммэрш!

Тут каждый, как умел, повернул, стоя на одной ноге, назад. У нескольких человек что-то не ладилось. Богомолов выхватил их за шиворот из общих рядов и поставил отдельно около входных дверей, поручив другому надзирателю подучить их. Среди них как-то очутился и социал-революционер Дубовской, бледный и измученный, с вытянутой вперед шеей и выпученными в очках глазами. На лице у него написаны были негодование и ярость, стыд и смущение. Надзиратель подходил по очереди к каждому из них и, дергая за левую ногу, топал ею по земле и все приговаривал:

— Левой, левой, левой, так вашу мать... Левой, сволочи, левой, левой, левой...

Было до слез смешно видеть взрослых и даже серьезных и интеллигентных (как Дубовской, например) людей над подобным детским занятием, и до слез больно смотреть, как над ними издеваются. Промучившись таким вот образом минут 15-20, мы все очень обрадовались, когда вслед за командой: кругом марш! — раздалась новая команда: правое плечо вперед!—что означало приказание вернуться в камеры. Мечтая чуть ли не в течение месяца о прогулке, я рассчитывал основательно поговорить с товарищами по волновавшим меня вопросам, обсудить сообща об изменении режима. Но куда там... Не до обсуждения тут было.

При инспекторах фон-Кубе и Сербинове и начальниках Мацпевиче и Синайском на эту шагистику обращалось самое строгое внимание. Ходили под команду не только во время прогулки, но даже когда нас водили в баню, когда мы носили дрова в кочегарку, когда таскали огромные десятипудовые брезенты, наполненные целой горой сработанных соломенных колпаков. Ни кандалы на ногах, ни грязь и слякоть, ни глубокий снег—ничто не избавляло каторжан от этой церемонии.

* * *

Любопытно, что в этой же тюрьме и при том же почти составе администрации, но только в другое время—в период заседаний первых двух Дум—жилось, относительно говоря, довольно сносно. Зато с началом заседаний третьей Государственной Думы, вместе с установлением господства Пуришкевичей и Марковых, Бобринских и Гучковых пошла и расправа с заключенными в тюрьмах. И без того начальство готовилось брать реванш за вынужденные обстоятельствами послабления, а тут еще началось вполне определенное давление сверху. Деятельность главного тюремного управления стала все явственнее принимать тенденциозно-мстительный характер, а местный губернатор Андреевский и губернский инспектор фон-Кубе настолько ретиво принялись за дело, что орловский централ вскоре огласился стоном и скрежетом зубовным. Мытарства каторжан начинались тотчас же по приходе с этапа. Вот что, например, рассказывал мне один старожил:

— Было это в апреле 1908 г. Отворяют ворота, и все мы гуськом подходим к конторе. Видим, оттуда выходит несколько помощников, а целая куча надзирателей поджидала нас на дворе.

„— Смирно! Шапки долой!—скомандовал старший Захар Козленко. Мы сейчас же скинули. Помощник Анненков, должно-быть, дежурный в этот день, здоровается с нами. Мы ему отвечаем, как полагается, но он как закричит:

„— Вы что ж это тихо отвечаете? Громче нужно, так вашу мать!

„Мы стоим, выстроенные в шеренгу, и молчим. Подходит Анненский к кому-то с краю и спрашивает:

„— Фамилия?

„— Садовников.

„— Ты кто: уголовный или политический?

„— Политический.

„— А, та и так твою мать! Свободы захотел! Против царя пошел! Власти не признаешь!.. Надзиратели, сюда! Дайте-ка ему!

„Подскакивают стоявшие немного поодаль надзиратели и начинают мять и бить Садовникова. Сам же Анненков подходит к другому.

„— Фамилия?—спрашивает.

„— Кудрявцев.

„— За что осужден?

„— За ограбление, хотя я вовсе не...

„— Что там за „хотя"...—прерывает его Анненков.— Грабить вздумал! Чужое добро похищать! „Экспроприатор"... Собака!... Надзиратели, дайте ему тоже...

„Те подходят и к Кудрявцеву и тоже „дают" ему. Так вот обошли всех. Все до единого были избиты. Последних уже не спрашивали, за что они осуждены, а раскрывая им ворот рубашки, искали крест на шее: если креста не было, то били, приговаривая:

„— Православный, а креста не носишь...

„Если же крест имелся, то тоже колотили, только со словами:

„— Крест носишь, а против царя пошел... Или ограбление сделал...

„Мы стоим и дрожим со страху. Думаем, что-то будет дальше. Раздается команда:

„— Отвести в главный корпус!.. На четвертое отделение!

„Повели нас наверх, а там по обеим сторонам, вдоль всего коридора, стоят уже надзиратели и держат что-то в руках. Мы разделись и разулись для обыска. Совершенно голый, каждый из нас идет в другой конец коридора и тут-то с обеих сторон начинают бить его толстыми рези-

нами, да так, что кожа вздувается. Падающих топчут ногами. Добираемся как ошалелые, быстро начинаем одеваться, тянем рубаху на ноги, брюки на руки, совсем растерялись и не видим что делаем. Дрожим и плачем. В камеры нас загнали как собак, с криками, руганью и пинками. У всех спины слуплены. Кое-как прошла поверка. Мы торопимся улечься, но невозможно: спина ноет, бок болит, прямо мука".

В тот же вечер пришел другой этап. С ними проделали то же самое. Мы слышим их вой, плач, крики:

— За что?.. За что?.. Ради Бога, не бейте!.. Ой-ой-ой!..

Отворяется дверь, и избитые влетают к нам в камеру. На лицах у них написан ужас, глаза горят, как у сумасшедших. У некоторых спины окровавлены.

— Товарищи, что это значит?.. Со всеми ли так было?— начинают они расспрашивать. Но мы лежим, притворяемся, будто спим. Только-что и они улеглись, как вдруг входит много надзирателей во главе с помощниками. Было уже поздно ночью.

— Кто из вас за террор сидит?—спрашивает помощник Батурин.

— А кто за принадлежность к партии?—задает вопрос другой помощник—граф Сонгайлло.

— А кто из вас монеты, монеты делал?—кричит Анненков, ощупывая всех глазами. Мы молчим. Вопросы задаются еще раз. Мы опять молчим, потому боимся и рот открыть. Тогда они стали подходить к каждому в отдельности и спрашивать:

— За что попался?

Подходят гурьбой к какому-то пожилому арестанту. Анненков спрашивает:

— За что попал?

Тот молчит, только весь трясется.

— Ага, сволочь, это ты, значит, монеты подделывал?.. Из-за таких, как ты, я раз десяти рублей лишился!.. Захарка, взять его!..

Подбегает старший, хватает того за шиворот, бьет в лицо и швыряет к остальным надзирателям. Те подхватывают его и тащат куда-то вон из камеры.

На другой день один больной не встал на утреннюю поверку. Его первым делом избили, а потом отправили в больницу. Затем оказалось, что в камере есть еще один больной. Ему тоже дали пару плюх, именно за то, что он

сам не заявил о своем нездоровье. После раздачи кипятку в камеру пришел фельдшер. Спрашивает: чем больны? Мы смотрим на пол, в сторону, и молчим. Да и как, в самом деле, сказать ему, что у нас спины вспухли от ударов резиной...

— Я знаю, знаю, что у вас болит,—говорит тогда сам фельдшер, перемигиваясь со старшим.—Я вам дам мазь такую, и вы будете один другого растирать. Кожа тогда засохнет. Только сперва гной будет, так вы не бойтесь...

Пощечины доставались нам каждый день. Выходим в коридор за вещами—бьют, вызывают нас для стрижки—тоже попадает в загривок. Не было дня, чтоб к нам не заходили два-три помощника с десятком надзирателей. Кобуры у них расстегнуты, лица злые. Достаточно малейшего предлога, чтоб у них зачесались руки, а как они начнут потасовку, так только и знай, что бока подставляй. Разметают нас по полу, словно щепки, всюды стоны и крики. Потом ввели моду: ежедневно обыск. Разувают, раздевают догола, ищут всюду, а что они ищут, они и сами толком не знают. Осматривают брюки и бушлаты, а если у кого-нибуь порвалось что или пуговица болтается, то так отлупят, зададут такую взбучку, что долго не забудешь. Раз во время такого обыска нашли какую-то жестяную полоску, которой можно резать хлеб или селедку,—должно-быть, кто-нибудь из прежних сидельцев оставил ее. Помощник Дурнев спрашивает: чья она, но никто не признается. Тогда он кричит:

— Всех их, всех их, сволочей, проучить надо!

Ну, и пошло чесать нас всех...

Нервы напрягались до того, что, казалось, вот-вот лопнут. И действительно, многие с ума сходили, делались настоящими маниаками. Раз на поверке некий Чекнов заявляет, будто арестанты хотят бросить его в клозет и утопить... Козленко спрашивает: „кто, кто?“—и тот показывает на всех, кто попался ему на глаза. Человек пять тут же было избито, потом их выпороли и бросили в темный карцер. Когда же выяснилось, что все это один вздор, надзиратели принялись за самого Чекнова. Его перевели в одиночку, изрядно поколачивали, и вскоре он умер. Из тех пятерых двое—Аронов и Пивоваров—тоже вскоре мерли.

Вообще, жизнь в тюрьме представляла тогда сплошную муку. Если, например, на одной скамейке сидело три —че-

тыре человека, то говорить можно было только шопотом. Когда надзиратель открывал дверной глазок, то всем 30—40 человекам надо было подняться с места и становиться во фронт, даже во время обеда... В первое время парашки на день в камеру не давали, вносили лишь маленькую ряжку, из которой моются в бане, а на ночь ставили один чугунный ушат—и это на 40 человек! Сколько приходилось переносить из-за этого.

Из помощников больше всех издевался над нами Анненков. Когда-то он служил простым писарем при полиции, и теперь звание „его высокоблагородия“, как у нас называли всех без исключения помощников, даже не имевших никакого чина,—разнуздало его и без того дикую фантазию. Так, он любил, чтоб арестанты, выходящие на прогулку, провожали его глазами и смотрели ему прямо в зрачки. Если не успеешь или не захочешь сделать этого, он тут же залепит тебе пощечину, свалит шашкой и начнет ругаться хуже пьяной проститутки. Или на прогулке, бывало, командует:—„Бе-е-гом!.. Собака собаку догоняй!.. Собака собаке ровняйсь!“—и тогда всем приходится бежать по кругу что есть сил.

В другой раз этот же Анненков под аккомпанемент обычной прогулочной команды; „раз, два, три, четыре... левой, левой“... бьет по очереди в физиономию всякого, кто вроходит мимо него.

Питание при Мацпевиче было хуже скверного. Арестанты у нас до того отощали, что многие из них рылись в свином корыте, в надежде найти подходящую корку хлеба, предназначенного для свиней начальника. Зимой в камерах был ужасный холод. Дровами заведывал помощник граф Сонгайлло, ухитрявшийся молодецки надувать комиссию из губернского правления, которая приходила с ревизией. В баню пускали один раз в две недели, но времени на мытье давали так мало, что редко-редко израсходуешь больше одной—двух ряжек воды. Не успеешь еще смыть грязь, как раздается оглушительная команда: „Выходи!.. Выходи-и“!.. и ты, как угорелый, часто с мылом на теле, бежишь одеваться. Наволочек к соломенным подушкам тогда не полагалось, а полотенца и портянки никогда не менялись. Строго требовались „чистота и порядок“, за малейшую пылинку на стене били кулаками, но действительной чистоты и порядка очень мало было в нашем централе.

Утром встанешь плохо выспавшись после дневной, уто-

мительной (особенно на хлопках) работы, после побоев и терзаний, весь ты грязный, неумытый, голова трещит, во рту засохшая от пыли и духоты слюна, с нетерпением ждешь не дождешься, чтоб тебя наконец выпустили на оправку, а тут тебя заставляют громко во весь голос петь „Отче наш“... Вообще, при фон-Кубе и Мацпевиче строго смотрели за соблюдением всех правил веры православной: за отказ от говения, исповеди и т. п. полагалась кулачная расправа (вспоминаю, например, случай с социал-демократом С. Часовенным). Иные каторжане (даже не из русских: я знаю такой случай с евреем Фишером), чтоб задобрить надзирателей, покупали в пользу церкви свечи. Иной раз дядька, по обязанности заботившийся о благолепии храма Божия, сам обходил арестантов и требовал денег на свечки.

— У меня сейчас денег нет, господин отделенный...—ответит ему кто-нибудь.

— Ни х!.. (т.-е.: не беда!). Одолжи вот у него!—возразит находчивый надзиратель (в то время каторжане могли не только делать неограниченную выписку, но, вопреки уставу, и списывать деньги с квитанции друг у друга). Каждый из арестантов, понятно, старался как можно реже попадаться на глаза начальству, и когда надзиратели выгоняли их в церковь, иные посылали вместо себя других, которым они давали за это чай и сахар, а другие отговаривались принадлежностью к сектантам, хотя на самом деле они числились православными.

— Ты чего в церковь не идешь, так и так твою мать?—начнет кричать Захарка.

— Я сектант, господин старший: штундист...

„Штундист“!.. Гм!.. Ну, а ты? — подходит он к другому.

— Я еврей, господин старший.

— Ишь, жидюга!.. Погибели на вас нет!.. Ну, а ты?—обращается он к третьему, к одному политическому, большому насмешнику.

— Я тоже сектант: вегетарианец, господин старший.

— Что ж это, так вашу мать!—свирепеет Захар Козленко, отпуская ближе к нему стоящим пощечины,—куда же это православные девались!.. Сговорились, что ли!.. Скоро обедня, кого же я в церковь пошлю!.. Марш! Выходи в коридор! Живо, сволочи!..

* * *

В первое время, когда мне частенько доставалось от надзирательских кулаков и языков, я склонен был думать, что право на избиения—это печальная привилегия именно политических каторжан. Преследовать бунтовщиков, не признающих Бога, идущих против царя, вообще восстающих против старых устоев,—это еще понятно, когда речь идет об обывателях—чиновниках и консерваторах-крестьянах, из которых и рекрутируется высшая и низшая тюремная администрация. Волна ограблений и террористических актов, направленных отчасти и против чинов тюремного ведомства, еще больше могла усугубить такое отношение.

Однако, ближе присмотревшись к орловским порядкам, я убедился в ошибочности моих предположений. Во всем, что касается побоев и оскорблений, наши администраторы придерживались принципа уравнительного распределения. Политический или уголовный, рецидивист, осужденный за грабежи, или рядовой мужичок, попавший за убийство в драке, на всех их одинаково распространялась избивательная кампания.

— Пожалеть тебя здесь некому, а отлупить тебя всяк горазд!..—плакался раз один пожилой крестьянин, которого побили за неисполнение одного из сотни специфически-орловских постановлений.

Было бы абсурдом утверждать, что *все* до единого тюремные надзиратели—это хулиганы в роде Богомолова или любимца Мациевича—Захара Козленко, или адъютанта Синайского—Степанова, или ставленника Колченко—Коробки. Нет, иной раз попадались и хорошие люди, надзиратели, которые даже передадут вам от соседа сахар и махорку, или (за деньги, правда) бросят письмо в почтовый ящик. Но, как везде и всюду, так и в нашем централе происходил подбор и приспособление. Вновь поступавшие надзиратели, люди сносные по характеру, поразительно быстро портились и зверели. Все дело в традиции данной тюрьмы, в ее руководящей тенденции. То же самое можно сказать и о помощниках начальника. Среди последних преобладала молодежь. Правда, молодежь эта воспитывалась не во времена очаковские и не в эпоху Николая I, когда длани начальников „дантистского“ типа выбивали зубы своим подчиненным, когда розги и истязания были обычны и в деревне, и в семье, и в школе. И не симптоматично ли, и не на-

водит ли это на размышления далеко не радужного свойства, что именно эта современная молодежь, облекаясь в тюремные мундиры, выдвигает таких хулиганов, как Анненков, Александровский, Сонгайлло, Грабовский и многие другие из орловских—да и одних ли орловских—администраторов?

„*Человек!..*—говорит устами одного из своих героев наш романтик пролетариата,—*че-ло-век!.. Это звучит гордо!..*" Да, да, г. Горький!.. Звучит очень гордо! Вспомните только, до чего гибка психика „человека" в направлении подлости и подхалимства, и каких только гадостей он не в состоянии оправдать во имя своего личного благополучия!

Мне часто приходилось читать о душевных качествах русского простолюдина, о его миролюбии, мягкосердечии, чуткости, непритязательности и так далее. Вероятно, любой патриот из любой нации наделяет свой народ кучей подобных добродетелей. Так Достоевский в своем мало читаемом, но крайне для него характерном „Дневнике писателя" уверяет, что русский человек „простодушен, чист, кроток, незлобив, широк умом, честен, искренен—и все это в самом привлекательном и гармоничном соединении". Даже слово „крестьянин" Достоевский склонен произвести от слова „христианин", из чего, мол, следует, что наше простонародье пропитано заповедями Евангелия.

Побывав во многих тюрьмах, я не мог без раздражения читать подобные хвастливые фразы. Я не знаю ничего более отвратительного, чем *самодур из низов*. Для него нет ничего сдерживающего—ни контроля воспитания, ни требований внешней культурности. Нахальный и заносчивый по отношению к тем, кого он считает стоящими ниже себя (скажем, к арестанту-каторжанину), он моментально меняет тон, даже самую физиономию, как только с ним заговорит тот, кого он считает стоящим выше себя: надменный бурбон в первом случае, он во втором становится робким и угодливым, чуткость его доходит даже до улавливания одних только намеков со стороны начальства. Ему даже не надо отдавать прямых приказаний!

Представьте себе, что какой-нибудь Кирьяк из чеховских „мужиков", избивающий и жену и детей, прошедший еще школу казармы с ее дисциплиной и субординацией, толкаемый безземельем и отсутствием „рукомесла", идет на службу в тюрьму. Правда, служба эта отвратительная: жалованье ничтожное, все время на ногах в полутемном, вонючем коридоре, частое дежурство по ночам с урезанным

4-5-часовым сном, хроническое недосыпание, переутомление, озлобленное нервничанье, зависимость от капризов не только высшего начальства, но и своего же брата-надзирателя, только званием чуть-чуть повыше... Но зато у него в перспективе систематическое увеличение жалованья вплоть до удвоения 25-30-рублевого оклада, а вдали, после 25-летней беспорочной службы, улыбается и пенсия. У него, большей частью, и казенная квартира с отоплением и бесплатным кипятком, ему и одежду выдают из казенного цейхгауза, ему и наградные обещаются,—словом, есть из-за чего постараться.

Пред надзирателем стоит не человек, а арестант, существо осужденное, оплеванное и ошельмованное, часто—непонятное и чуждое, если речь идет о политическом. Он и без всякого давления со стороны не прочь съездить по физиономии, „проучить“ арестанта, а тут начальство еще поощряет это, а тут оно на каждом шагу подчеркивает его полное бесправие.

Из особенностей, отличающих наш централ от других каторжных тюрем, нужно упомянуть еще о коридорных, т.-е. об арестантах, убирающих коридоры, раздающих обед и т. д. Обыкновенно, согласно тюремной традиции,—это люди *блатные*, т.-е. свои, готовые где только возможно услужить арестанту и насолить общему врагу-начальству. Они и *ксиву* (записку) передадут, и *перышко* (ножик) достанут, и про *шухер* (обыск) предупредят, и с хорошим *ментом* (надзирателем) сношения завяжут.

Не то было в Орле, при Мациевиче и Синайском. При них коридорные назначались главным образом из отбросов уголовщины, из *лягавых*, провинившихся пред своими же собратьями, замеченных в шпионстве и предательстве. В других тюрьмах лягавых держат изолированно, собирают в особый *сучий куток или в сучий департамент.* В Орле же они сидели в общих камерах и занимались доносами вполне открыто. Начальство поощряло их, брало под свою бдительную опеку, а сами арестанты были настолько терроризованы, что господа лягавые чувствовали себя великолепно и делали свое дело совершенно безнаказанно.

У нас в одиночном корпусе выделялся в этом отношении некий Александр Сербулов, толковый и расторопный парень, одесский воришка, сосланный в каторгу за ограбление с убийством. В Орел он приехал из владимирской каторжной

тюрьмы вслед за Синайским, который, после того как Сербулов засыпал какой-то побег, взял его под свое личное покровительство. Из других коридорных этого типа упомяну еще о Вавилове, молоденьком краснощеком каторжанине, который на воле служил в сыскном отделении и вместе с другими сослуживцами осужден был за участие в ограблении; о Мохове, беззубом, с оспенным лицом, до-нельзя истощенном чертежнике, который получил 20 лет каторги за то, что с целью ограбления вырезал целую семью, и наконец о Савчуке, здоровенном крестьянине, попавшем на каторгу за разбойное нападение: ожидая смертной казни, он выдал своих двух второстепенников-сообщников, впоследствии повешенных.

Эта-то гнусная компания еще больше отравляла жизнь нашей братии. Похабную брань, пощечины и всяческие издевательства они практиковали не хуже самих надзирателей. Часто бывало, что отделенный или простой дядька впустит лягавого в одиночку к новоприбывшему, и коридорный, отвратительно ругаясь и расправляясь кулаками, преподает тому известную уже науку.

— Ты куды суконку положил, так и так твою мать!..— кричит, бывало, в присутствии надзирателя Сербулов, ударяя по лицу стоящего навытяжку арестанта.—А крошки от хлеба почему не убрал?.. А одеяло ка-а-к сложил?.. Ах, ты, сволочь, разве господин дядька мало по твоей маске прохаживался? Или еще в морду захотел?!..

Эти же коридорные-арестанты с ведома отделенного брали себе лишнее мясо из общего котла, обкрадывали сумки новоприбывших, забирая оттуда чай, сахар и т. п.

Таковы институты, таковы нравы учреждения, именуемого орловским *исправительнымъ* отделением . . . . .

* * *

Должно-быть, с целью европеизировать управление тюрьмами, высшее начальство ввело институт тюремных инспекторов. Можно было думать, что люди с высшим, специально-юридическим образованием будут стоять на страже так называемой „законности“ и постараются удерживать своих подчиненных от проявлений варварства. Но поведение целого ряда инспекторов, хотя бы того же фон-Кубе, вызвавшего своими действиями

в Сибири целую трагедию *), говорит о неосновательности подобных ожиданий.

Излагая свои взгляды на способы исправления заключенных, наш инспектор так говорил надзирателям:

— Арестантов не распускать!.. В случае чего—в морду их!.. Бей и в хвост и в загривок,—я отвечаю...

Какой-то наивный и простодушный каторжанин пожаловался фон-Кубе на то, что его избили. Вот его ответ:

— Вы, арестанты, хуже собак... У меня вон собачка есть, я с нею обедаю, а вы хуже, вы как клопы, вас выводить, уничтожать надо...

Кому же в таком случае жаловаться? У нас в Орле, если пожалуешься на надзирателя начальнику, то будешь за это жестоко избит (таких случаев—десятки), а то и выпорот, как это было с социал-революционерами Кимановым, Кудрявцевым и др. В этом отношении очень показательна судьба несчастного Саши Бейлина, анархиста, известного среди своих екатеринославских и северо-западных единомышленников под кличкой „Саши Шлуммер". В Орел он пришел с плохими отзывами, и наше начальство, особенно старший помощник Семашко, знавший его по Киеву, всячески преследовало его.

Однажды, когда Бейлин был дежурным по камере, надзиратель избил его, избил за то, что на стене, по которой он провел рукой, была пыль. Бейлин поднял крик, его вытащили в коридор и там до того помяли, что вывихнули ребро. Бейлин обратился к доктору Рыхлинскому, тот признал вывих и взял его на время в больницу. Встретив как-то инспектора Сербинова, Бейлин принес ему жалобу, на что Сербинов потребовал вторичного его освидетельствования. Рыхлинский, должно-быть, отлично понимавший, чего именно добивается инспектор, хотя и подтвердил фак вывиха ребра, но признал его давнишнего, якобы до-тюремного происхождения.

— Ага! Значит, ты врешь!—вознегодовал Сербинов на Бейлина, дерзнувшего оклеветать мягкосердечных и кротких орловских надзирателей.—Выпороть мерзавца!

Бейлина схватили и выпороли розгами. Приключение

*) В 1912 г. он был уже начальником Нерчинской каторги. В августе этого года он приказал-было выпороть розгами одного политического из кутомарской тюрьмы. В виде протеста трое каторжан зарезалось, десятеро приняли яд, а все остальные объявили голодовку.

это до того на него повлияло, что он *сошел с ума*, заболев буйной формой мании преследования. Уже сумасшедшим его били несметное число раз („чтоб дурака не валял, так и так твою мать“), множество раз в карцер сажали и глумились над ним бесконечно. Но, несмотря на общее затемнение его сознания, могучий инстинкт жизни все еще властно говорил в нем: желая добиться более мягкого отношения, Бейлин раз пятнадцать объявлял голодовку, но тщетно. Держали его в одиночестве, изолированным, и по своему душевному состоянию он не в силах был ориентироваться в окружающем и найти какой-нибудь целесообразный выход. Окончательно измученный, Бейлин умер весною 1915 г., умер совсем молодым. Его товарищ по убеждениям и по протестантскому духу, некий Сандлер, чудесный по характеру и редкостный красавец, до того часто подвергался у нас побоям, что тоже не выдержал, зачах и умер. Менее печально кончилась история с социал-революционером Дьяконовым, которого в течение недели систематически истязали, пока не добились своего: окончательно обезсилев и упав духом, Дьяконов пошел навстречу желанию помощника инспектора Скрябина и дал подписку в том, что в Орле избиения не практикуются...

В начале 1912 г. нашу тюрьму посетил какой-то крупный чиновник из главного тюремного управления. Каторжанин Тимонин, парень смелый и правдивый, пожаловался ему на побои. Чиновник выслушал и не сказал ему ни слова, но присутствовавший при этом инспектор Сербинов уверил его:

— Даю тебе слово, Тимонин, что больше тебя бить уже не будут.

Едва начальство ушло в другое отделение, как к Тимонину прибегает Богомолов.

— Ах, так и так твою мать!—начал он.—Ты что же это: жаловаться на меня вздумал!.. Ты, болван, думаешь, что все, что я делаю, это без ведома господина начальника?.. Ты думаешь, это отделенный здесь такой?—тут Богомолов поднял руку на аршин от пола.—Нет, сволочь, отделенный здесь во какой!—тут он поднял руку вверх над своей головой.—Помни же!..

Через некоторое время Тимонин, спускаясь вниз с третьего этажа и будучи в кандалах, несколько отстал от своего уже раскованного сожителя. Надзиратели наши, во всем любившие порядок, требовали, чтоб арестанты из одной и

той же одиночки, выходя на прогулку, шли вплотную один за другим, отделяясь таким образом от жильцов другой одиночки. Богомолов подскакивает к Тимонину и со словами:—„Ты что же это отстаешь"?..—бьет его кулаком в лицо. В другой раз тот же Тимонин, которого Сербинов уверял, что его больше бить не будут, как-то из-за дальности расстояния не расслышал слов, сказанных ему надзирателем, и переспросил его:

— Что вы сказали?

— Не „что вы", а „чего изволите, господин отделенный"—вот как надо сказать!—заорал на него тот, отпуская ему пощечину.

В редчайших случаях наш централ посещал товарищ прокурора. При этом надзиратель или помощник начальника предварительно обходил арестантов и, уведомляя о приезде прокурора, требовал, чтоб те заранее выкладывали, на что именно они намерены жаловаться. В августе 1912 г., после того, как с ведома и в присутствии Синайского и Сербинова было устроено небывалое в истории русской каторги истязание 14-ти шлиссельбуржцев, присланных к нам на исправление, тюрьму посетил чиновник-юрист. В сопровождении того же Синайского, его помощников и целой кучи надзирателей, без всяких предупреждений о своем приезде, не говоря о том, кто он такой и зачем он приехал, он обходил одиночки. После казарменного „здорово!" он вялым и безразличным голосом спрашивал:

— Ты на сколько осужден?.. За что?.. Когда срок кончаешь?

Получив ответ на эти ужасно важные вопросы, он поворачивался и уходил в следующую камеру. Это называется: „посетить тюрьму". Он даже не спрашивал, есть ли у заключенного какие-нибудь заявления и жалобы.

Зашел он и в 137-ю одиночку, к соц.-д. Янсону, сидевшему тогда с вышеупомянутым Тимониным. Не зная, кто такой этот чиновник, Янсон осведомляется, с кем, мол, он имеет честь говорить. Оказывается,—это товарищ прокурора. Тогда Янсон и Тимонин, рискуя получить новую встрепку, заявили ему о практикующейся у нас кулачной расправе.

— Что ж, жалуйтесь своему начальству,—мямлит в ответ товарищ прокурора, стоя на пороге и направляясь к выходу.

— Но начальство наше само дерется! — бросает ему вдогонку Тимонин.

Товарищ прокурора и Синайский весело переглянулись между собою, усмехнулись и молча вышли из камеры. Через полчаса в 137-ю камеру прибегает Калафуто, обругал их, как водится, матерною бранью, торжественно обещал „всю морду искровянить", но пока-что ограничился тем, что развел Янсона и Тимонина по разным углам нашего длинного коридора.

Раза три наш централ посетили совсем уже высокие особы. В 1909 году осенью в Орел приезжал начальник главного тюремного управления Хрулев. В 14-й камере общего корпуса Седов и Драханов (два человека из 1.200 находившихся тогда в тюрьме) принесли ему жалобу. Хрулев только и сделал, что развел руками. На следующий день Седов и Драханов были, по приказанию Мацневича, выпороты. Года через четыре после этого приехал заместитель Хрулева — Гран. Многие, узнав об этом, готовились сделать ему ряд пространных заявлений, но г. начальник главного тюремного управления изволил посетить лишь тех арестантов, к которым приводило его начальство. Когда же с.-р. Дм. Гуменский, много раз испытавший на собственном лице и на собственной спине удельный вес надзирательских кулаков, рассказал об этом Грану, Сербинов и начальник Колченко поспешили тут же уверить своего патрона в том, что Гуменский — сумасшедший... Хватило же у них смелости—или... беззастенчивости!

Однажды по тюрьме распространился сенсационный слух: прибудет сам министр внутренних дел Маклаков. Началась невероятная суетня: чистили, скребли, полировали, наводили всюду лоск и блеск. Многим выдали свежие штаны и бушлаты, переменили соломенные подушки, словом, приготовились честь-честью. Губернатор, инспектор, помощник инспектора, начальник, все помощники его, доктор, оба фельдшера долго-долго дожидались его, а дежурные надзиратели не сходили со своих постов, хотя время для смены давно прошло уже. Наконец, приехал его высокопревосходительство. Заглянул он в пару камер, затем в пару мастерских, посетил пару каторжан, сидевших в одиночке,—и уехал. Впечатление об орловской каторге он получил разве что на основании рапорта начальника тюрьмы.

Было это в среду, когда полагается постный обед. Ну и обед же был! Рыбы сколько!.. Картошки!.. Все было в обильном количестве и со вкусом приготовлено. Следовательно, от приезда министра арестанты все-таки кое-что

выиграли. Впрочем, целую неделю после этого обед представлял собою почти одну только водичку... Но нельзя же и баловать арестантов!..

* * *

Говоря об орловском централе, нельзя не упомянуть о нашем докторе Рыхлинском.

„Известно всем арестантам по всей России, — писал Достоевский в своих „Записках из Мертвого дома“,—что самые сострадательные для них люди — это доктора. Они истинное прибежище для арестантов...“ На основании своего личного опыта и наблюдений многих заключенных из других тюрем, я смею утверждать, что такая общая характеристика совершенно неприменима для нашего времени. Безразличное (а для врача это преступно-безразличное) отношение к больным, казенный шаблон и холодный формализм, отправление своих обязанностей с такою же небрежностью, с какою средний чиновник, служащий исключительно жалованья ради, отправляет свою скучную работу, приспособление и подлаживание к требованиям и даже к капризам тюремщиков—такое впечатление производит большинство тюремных врачей, с которыми приходится сталкиваться.

Конечно, во многом они стеснены, но до чего же низко должны они ставить свое личное достоинство и престиж своего сословия, если, например, они мирятся с тем, что при осмотре больных вне самой больницы за ними всюду по пятам ходит надзиратель, который смотрит им в рот и в руки, выслеживая, не скажет ли доктор или не передаст ли он что-нибудь „недозволенное“... *Настоящий* врач не мог бы с этим примириться. Точно также настоящий врач многое мог бы сделать для улучшения того ужасного, порою превосходящего всякое воображение антисанитарного состояния большинства российских тюрем, которое нашло себе подтверждение даже со стороны самого главного тюремного управления.

Достоевский вот возмущается, что в палату к больным ставят на ночь парашку и не выпускают их в более подходящее место, но такие порядки далеко не исчезли и по сие время. Еще больше негодует он по поводу того, что с туберкулезных не снимают кандалов. Он взывает к христианскому милосердию и убеждает власть имущих снимать цепи с арестантов хотя бы перед их смертью.—„Са-

ми по себе,—пишет Достоевский,—кандалы не Бог весть какая тягость, весят они всего (...„всего!..“) двенадцать фунтов, но для трудно-больного, для чахоточного, у которого и без того сохнут руки и ноги, всякая соломинка становится тяжка... Нельзя же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перст Божий“.

Для тех, к кому обращался и взывал Достоевский, он, по своим политическим взглядам, был вполне своим человеком, и с тех пор, что он писал это, прошло уже целое полустолетие, а между тем пусть-ка главное тюремное управление соберет подробную статистику каторжан, умерших с кандалами на ногах... А что туберкулезных подвергают всем тем ограничениям в отношении выписки, прогулок и т. п., которым подвергаются и здоровые каторжане, что их как ни в чем не бывало сажают в темный карцер на хлеб и на воду и даже порют розгами,—об этом и говорить нечего.

Про нашего Рыхлинского можно сказать с уверенностью, что от орловского надзирателя он отличался разве тем, что носил пенснэ, шикарно одевался, стриг бороду не в виде лопаты, а в виде эспаньолки, и курил не махорку, а дорогие папиросы. Правда, сам доктор никогда не дрался, но зато не прочь был иной раз выругаться по-матушке, часто топал на больных ногами, грозился розгами и т. д. Кошмарный режим, расстраивавший здоровье заключенных и массами сводивший их в могилу, его нисколько не возмущал. Чахоточные, которых он даже не изолировал от здоровых, находились у него на самой обыкновенной арестантской баланде, и он даже не постарался выхлопотать для них хотя бы ежедневную прогулку; единственное, что он для них сделал—это разрешение войлоков для брезентовых коек.

Его отношение к больным, находившимся в лазарете, отдавало возмутительной халатностью, граничащей с преступностью, и действительно, смертность при Рыхлинском во много раз превосходила самые максимальные нормы. При нем больные не были даже гарантированы от побоев. Так, если надзиратель заметит, что кто-нибудь курит в палате, он обязательно поколотит за это. Иной дядька вдруг возмутится тем, что больной расхаживает по палате.

— Здесь, сволочь, не бульвар тебе... Лежи, коли больной!..

Само собою разумеется, что подобные сентенции лишь

в редких случаях обходятся без кулачных комментариев. На подобные выходки Рыхлинский смотрел сквозь пальцы. Зато он и пользовался у нас всеобщей и глубокой ненавистью. Если о его заместителе Лисохине, докторе из местных евреев, гуманном и чутком человеке, все без исключения арестанты отзывались с любовью и уважением, то о Рыхлинском никто доброго слова не скажет. Встреться он наедине где-нибудь с каторжанином, то навряд ли ушел бы живым...

„Я совершенно человек темной как ночь и то я вижу Неправду Аброзованных людей как у етого Доктора у Него Лвиная душа а серца Тигриная, — писал мне мой сосед, проживший в централе целых семь лет. — Наверно он для етого получал Аброзованье чтоб как лекча (легче) кровь пить с темнова человека. Бедной несчасный арестант пропадаить незачто как насекомая".

И действительно, у нас в Орле, где заключенных было более 1.200 человек, арестанты пропадали, как насекомые. У меня сейчас нет под рукою официальных цифр, но, сопоставляя собственные наблюдения, показания многих больных, лазаретных служителей, надзирателей и мастера, изготовлявшего гробы, я утверждаю, что в орловском централе за время 1908—1912 гг. умирало не меньше 150—200 каторжан в год *). Положительно не было недели, чтобы кто-нибудь не умер, и, наоборот, бывали дни, когда умирало пять, шесть, а то и семь человек.

Необычайная цифра умерших от чахотки вызвала тревогу даже со стороны главного тюремного управления: введены были периодические осмотры легочных больных (*без всякого, однако, улучшения их пищевого довольствия и обще-правового положения...*), по всем камерам розданы были медные плевательницы с раствором марганцевого кали, а главное—всюду на стенах вывешены были правила о том, как уберечь себя от чахотки: не плевать на пол, почаще бывать на воздухе и получше питаться,— таковы были пахнущие издевательством наставления гигиенистов тюремного ведомства.

Измученный предварительным (еще до приговора) сиде-

*) В 1907 году в Париже на тысячу жителей умирало 19 человек, в Петербурге—25; это считая и стариков и детей. Надо еще иметь в виду, что на каторге, как и вообще в тюрьме, *преобладает самый цветущий возраст*, следовательно, нормально, процент смертности должен быть гораздо меньшим, чем в столичном городе.

нием, расстроенный режимом каторги, измочаленный арестант после нескольких основательных встрепок падал с ног. Если он человек впечатлительный, если у него, кроме того, слабые легкие, то—смотришь, через некоторое время он уже обращается к фельдшеру, который и начинает пичкать его порошками и мазать иодом. Потом его переводят, а то и переносят в больницу, а через несколько месяцев как-нибудь случайно узнаешь, что такой-то приказал долго жить... В первое время такие случаи производили на меня страшно угнетающее впечатление. Думая об ином молодяке, так печально кончившем дни свои на тюремной койке, вдали от родины и близких людей, среди тюремщиков, с холодным равнодушием смотревших на его предсмертные муки, я, бывало, не находил себе места в одиночке. Образы, один кошмарнее другого, так и плодились в моем воображении. А когда в голове назойливо застучит мысль о том, что ведь и я сам могу испустить здесь свой последний вздох и замолкнуть навеки в казенном гробу, меня охватывала жуть и тревога...

Бывало и так, что избиваемый каторжанин умирал тут же на месте. Так, например, в 1911 году у политического Петра Мамонтова нашли во время обыска какие-то порошки.

— Зачем так много!—закричал на него отделенный.— Ты что это: больницу здесь заводишь, или аптекарский магазин открыть собрался?! Выходи, сволочь!

Мамонтов вышел на коридор, надзиратель ударил его кулаком, он поднял крик, что еще больше разъярило дядьку. На помощь последнему подошли еще двое надзирателей, и Мамонтова били до тех пор, пока он не свалился с ног. У него из горла пошла кровь, послали за фельдшером (как и доктор, весьма подходившим к общему режиму централа), но пока он удосужился прийти в корпус, Мамонтов помер.

Непосредственно от избиений и в самой ближайшей связи с ними у нас умирало немало каторжан. Так было, например, с Севрюковым, Кудиновым, Цыгановым, Насеновым, Солодухиным, Сабуровым, Грековым, Кривцовым, Никулиным, Сандлером, Фудимом, Мельниковым, Редько, Литманом, Мальхиным, Жмиевым, Ефремом Селивановым, Кононом Москальчуком, Баламудом, Мосиенко.

Немало также было у нас и самоубийств и покушений на таковые.

Политический *Мирошниченко*, которого, как и всех прибывших из Новочеркасска 14 мая 1909 г., страшно избили во время дежурства помощника Александровского, на следующий же день пытался повеситься. Его сняли с петли, но он вскоре умер. В своей одиночке сжег себя *Яковенко*; помощник Анненков, прибежав на тревогу, бил его лежачего и полуобожженного; на третий день Яковенко умер. *Сергей Кудрявцев*, снятый с петли и потом сошедший с ума, а также и *Петр Лютиков*, накинувший на себя петлю и зверски избитый за это,—умерли вскоре в больнице. Удачно повесились и сняты были с петли уже холодными трупами: петербургский студент, социал-демократ *Сапотницкий*, *Маларчук*, *Грибанов*, *Курагин*, *Сикорский*, *Петр Судик* (ночью повесился в шестой камере четвертого отделения), *Степан Чередников* (надел на шею веревку и закрутил ее деревянной ложкой), *Бальцеровский*, *Фатеев*, *Мих. Новиков* (чахоточный, выпоротый за участие в обструкции), *Шубович*,—список этот далеко не полон. *Грабов* бросился с лестницы и разбился на-смерть. *Зуев и Хинчук* сбросились с верхней площадки и сильно искалечили себя. Невинно-осужденный в бессрочную каторгу *А. Розен*, нещадно избиваемый, сбросился в июне 1909 г. через перила третьего этажа на асфальтовый пол, разбился, но остался жив. Он впал в тихое умопомешательство и через год умер, так и не приходя в сознание.

Если бы министерство юстиции пожелало своевременно произвести ревизию, то этот мартиролог был бы несомненно значительно удлинен. К нему пришлось бы прибавить и тех шесть каторжан, которых застрелили во время стычки потерявших терпение арестантов с надзирателем Ветровым, что было 9-го августа 1910 г.

* * *

„Бедные и несчаспые мы Орестанты,—писал мне упоминаемый выше каторжанин Азаров в ответ на мою просьбу прислать свою тюремную биографию.—Как нам можно было жить в Орле как не умереть как не быть больному и Чехоточному. Бедный он и так убит Горем своим, а тут щщо Верховная Власть наволилась как Сороича. Как тут не повесится или не згореть или бросится куда-нибудь только лиш ни мучиться“.

Азаров этот сидел рядом со мною, и мы с ним частенько тайком переписывались. Ему предстояло в скорости выйти

на поселение, и я просил его описать самочувствие, с каким он оставляет Орел. Вот его ответ, — я только исправил орфографию. Слова этого простолюдина, попавшего в тюрьму тихим и смирным парнем и выходящего оттуда озлобленным и раздраженным, характерны во многих отношениях:

„Я до сего времени никого еще не грабил и не скуновал своих рук в чужой крови. А теперь буду даже жрать мясо человеческое. Вот до чего централ меня исправил. Я только для того и живу и ожидаю конца срока, чтоб выйти на волю и задушить всех врагов. Я буду купать в чужой крови руки до тех пор, пока чья-нибудь железная и властная рука меня самого задушит. В этом есть низкое чувство, чтоб я не отомстил сам за себя. Какой же я тогда буду человек, если сам не постою за себя. Хоть и смерть мне будет за это, но я и так сейчас не живу, а только существую, как какая-нибудь мебель“ („небель“— стоит в оригинале).

Тут мысли моего корреспондента приняли своеобразное направление, и, толкаемый запутанной ассоциацией идей, он продолжает:

„Богатые и начальство только к тому и учатся, как человека темного оседлать надо и понукать и как бы на мужика надеть ярмо деспотизма (*„как бы надеть на его Ермо беспотизма“*,—пишет сам Азаров), и вези, мужик, не шевелись! Вот где ваши ученые интеллигенты, вот где у них чувство человеческое, вот где сожаленье к человеку, какой же тогда может быть Бог? Для мужиков еще монастыри строят, а сами идут в театры, рестораны, на лихачах разъезжают, вино пьют за пять рублей одна бутылка, на все это у них хватает тратить финансов. За что инспектор и начальник и доктор и все образованные господа деньги получают? Нет, нужно стереть ихние законные правления и всех вырезать. Вот я восемь лет обдумываю, но мои жертвы приближаются, не дам пощады никому, всех буду стирать, пока не лягу под пулею. Вот как меня исправил Орел, только я не могу вам красноречиво писать, а на душе у меня много кой-чего накипело“.

В лице Азарова орловский централ нашел судью, взгляды и намерения которого являются прямым следствием господствовавшей у нас системы. В этой-то адской кухне, где своим злоизмышлательством и жестокостью один нечистый дух превосходит другого, где постоянно стоял стон и скрежет

зубовный, где личность заключенного, его честь, его здоровье коверкались и топтались в грязь, — здесь-то и должен был исправляться арестант, отсюда-то он и должен был выйти человеком раскаявшимся, остепенившимся, примирившимся с тем обществом и с тем судом, которые с легким сердцем швырнули его в эту преисподнюю . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Когда в сентябре 1915 г. я вышел за ворота нашего централа, мне казалось, что с плеч моих свалилось десять Монбланов.

IV.

## Невинно-осужденные.

Когда мне приходилось читать или слышать о невинно-осужденных, я всегда недоумевал:

„Как это взрослый и толковый человек не мог доказать судьям, что в такое-то время его не было там-то, или что того-то он потому-то не мог даже совершить... Ведь как бы отрицательно ни относиться к современному суду,— не из драконов же, в самом деле, состоит он. Какой интерес судьям населять тюрьмы и каторгу, тем более вешать заведомо-невинных людей?“

Так я думал долгое время. Однако дальнейшие наблюдения и более обстоятельное знакомство с подробностями заставили меня отказаться от моего недоверчивого отношения к рассказам о невинно-осужденных. Да что там долго рассуждать,—воскликнул я,—когда по одному со мною делу приговорены были к десяти годам каторги Александр Львович Волченко и Борис Михайлович Берг, не имевшие ни малейшего касательства к севастопольскому восстанию в ноябре 1905 г. Первый был арестован в казарме морского экипажа, куда он вместе с толпой рабочих вбежал, спасаясь от раздававшихся кругом выстрелов. Второй—зеленый юнец из учащихся—был предан суду на основании перехваченного на почте письма к одной барышне, в котором он в хвастливом тоне разглагольствовал о деятельности повстанцев, с лейтенантом Шмидтом во главе. Выставленных ими свидетелей на суд не вызвали и осудили их заочно, так как сами Волченко и Берг на суде не участвовали.

Нужно иметь в виду, что огромное число процессов

1906—1910 гг. разбиралось военными судами, которые уже по своему составу, по своей чрезвычайной роли, разыгрываемой в чрезвычайной обстановке революции—и контрреволюции—слишком склонны были рассуждать по формуле: арестован—значит виновен. Руководствовались они главным образом чувствами панического страха и слепой классовой мести, особенно там, где затрагивались имущественные интересы и политические привилегии господствующих сословий. Расследования многих и многих дел и вынесенные по ним приговоры по своей нарочитой тенденциозности и холодной жестокости, по игнорированию соображений хоть сколько-нибудь нормального правосудия, по склонности итти не от улик к обвиняемому, а как раз наоборот,—поразительно напоминают судебные дела средних веков. Иной раз знакомишься с каким-нибудь делом, и так и кажется, что пред тобою не что иное, как модернизированное изложение „Собора Парижской Богоматери" Гюго. Как будто забыто изречение Екатерины II, и многие судьи предпочитают скорее осудить десять невинных, чем оправдать одного виновного.

„Эта тяжелая задача подвести итоги революции выпала на долю наших судебных учреждений, которым до известной степени приходилось таким образом быть судьею в своем собственном деле. Суды втянуты были в политическую борьбу и вышли из нее с окончательно разрушенным и совершенно разбитым авторитетом. Такого явного сервилизма, такого беззастенчивого угождения видам правительства трудно было ожидать даже от нашего суда, приучившего нас—особенно в муравьевское время—ничему не удивляться". Так говорит солидный и лойяльный юридический журнал, руководителями которого являются профессора, т.-е. те же учителя наших прокуроров и судей (см. „Право" 1907 г. № 1). Стоит ли тогда возмущаться приговорами военного суда, в состав которого входят простые подполковники из пехоты и кавалерии, если с судьями, получившими специальное юридическое образование, приключился, например, следующий характерный казус:

С.-Петербургский окружной суд в первом заседании без участия присяжных заседателей рассматривал дело Н. Ф. Анненского и Вл. Короленко. Председателем был Чубинов, членами суда—Кучинский и Пороховщиков, обвинял товарищ прокурора Карнович по $1034^{1}$ статье Уложения о наказаниях. Из речи защитника О. О. Грузенберга

выяснилась грубая юридическая ошибка, в которой повинна сама судебная палата, упустившая из виду, что 1034[1] статьи Уложения о наказаниях, на которую она ссылается, уже более не существует... (см. „Право" 1907 г. № 21).

* * *

Расскажу о случаях осуждения невинных людей, о случаях, которые стали мне досконально известны за время моего скитания по тюрьмам.

В Севастополе проживал одно время молодой, лет 23, рабочий Никита Скрипниченко. Он входил в местную социал-революционную организацию и прославился целым рядом террористических актов. Это был человек буйного темперамента, смелый и находчивый партизан и ловкий конспиратор. Он долго оставался неприкосновенным, пока его не выдал некий Кабанов. Как-то за ним гналась полиция, он пустил в ход свой браунинг и в конце концов был задержан. За вооруженное сопротивление военно-морской суд (делу дали скорый ход и даже не дождались заседаний выездной сессии военно-окружного суда) приговорил его к смертной казни. Летом 1908 г.—всего через неделю после ареста—его повесили. На суде он откровенно и с вызывающей гордостью перечислил все свои покушения и убийства. Это было ново тем более, что по делам им совершенным частенько попадались люди совершенно посторонние. Так, мне известны Макар Дерябин и Иван Спицкий.

Макар Григорьевич Дерябин, едва вступив в организацию социал-революционеров, был арестован за хранение литературы. Донес на него рабочий Михаил Шелухин, заявивший следователю, что он-то и является убийцей надзирателя севастопольского порта Комаровского. Убийство это было совершено еще в марте 1907 г., и совершил его по постановлению социал-революционерского комитета один только Скрипниченко, Шелухин же был арестован зимою 1908 г. Несмотря на то, что десятка два свидетелей единодушно показывали, что во время убийства Комаровского он сидел дома с гостями, одного только показания Шелухина было достаточно для обвинения и присуждения Дерябина к смертной казни. Возможно, что суд сам не был уверен в основательности своего приговора, потому что сам же он ходатайствовал о замене повешения пожизненной каторгой. Свой срок Дерябин начал отбывать в каторжном отделении московской пересылки.

Однажды Никита Скрипниченко смертельно ранил городового. Случайно был задержан в этом месте Иван Спицкий, парень, известный как пьяница и игрок на бильярде. Помощник пристава Жиров доставил его в больницу, и городовой, находившийся при смерти, признал в нем стрелявшего. Спицкого (кстати—несовершеннолетнего) повесили.

В том же Севастополе судился екатеринодарский рабочий Голиков, член социал-революционерской организации, устроивший в Керчи экспроприацию банка на 60 тысяч рублей. Случилось так, что в то время, как за ними шла погоня, особенно в районе горы Митридат, там же прятался некий Исаак Зайчик, обыкновенный вор-карманник, только-что освободившийся из арестантских рот и стибривший чью-то каракулевую шапку из почтовой конторы. Околоточный и двое городовых задержали его. В экспроприации участвовало несколько человек, в том числе три брюнета, Зайчик был тоже брюнет,—и вот он попадает на скамью подсудимых. Голиков, конечно, отрицал всякое с ним знакомство. Голикова повесили, а Зайчику, тоже приговоренному к смертной казни, адмирал Бострем, от которого зависела конфирмация приговора, заменил казнь бессрочной каторгой. Под смертным приговором Зайчик просидел недели три.

В сентябре 1907 г. один молодой социал-революционер убил рабочего, занимавшегося, между прочим, и шпионством. Убийца служил конторщиком на том же судостроительном заводе, и так как он остался неузнанным, то назовем его, скажем, Черпилиным.

Весть об этом убийстве скоро распространилась среди всех жителей портового района и вызвала общее ликование: подобного рода актам всегда сочувствуют даже и принципиальные противники террора. В том же порту работал социал-демократ Владимир Кремлянский. Войдя на следующий день в свою мастерскую, он обратился к кучке прихвостней администрации:

— Погодите, мерзавцы, вам всем такая участь будет!— произнес он.

Один из этой кучки донес об этом кому следует, и вечером Кремлянский был арестован у себя на квартире. Его обвинили в убийстве, совершенном, в действительности, Черпилиным.

Среди севастопольских рабочих того времени террор был в большом фаворе, и предатель Кремлянского был вскоре

убит, при чем мститель так и остался неразысканным. Стали хватать подозрительных для полиции лиц. Тут-то и обратили внимание на то, что Чернилин, до этого носивший длинные волосы, явился в контору коротко-остриженным и стал держаться как-то с опаской. К убийству рабочего, который выдал Кремлянского, как вам уже известно, арестованного вместо удивительно на него похожего Чернилина, сам Чернилин отношения не имел.

Судьбе, часто творящей такие замысловатые штуки, какие не всегда придумает и фантазер-беллетрист, угодно было, чтобы и Кремлянский и арестованный по чужому делу Чернилин очутились в одной одиночке. Разобрав в чем дело, они оба порешили действовать так: если Чернилин будет судиться первым, и его приговорят к смертной казни, то он должен взять на себя совершенное им первое убийство и облегчить положение невинного Кремлянского. Если же Чернилина приговорят только к каторге, то о своей действительной виновности он должен умолчать: располагая свидетельством многих лиц, Кремлянский мог рассчитывать на оправдание.

Вышло так, что первым судили Чернилина. Против него показывали городовой и какой-то мальчик. Защищавший Чернилина адвокат так умело допросил мальчика, что тот расплакался и сознался, что показывать против Чернилина научил его городовой. Последний тоже сбился в своих показаниях, и Чернилин вышел из суда совершенно оправданным. Наступила очередь за Кремлянским. В свою пользу он выставил человек тридцать свидетелей, но то, что действительный убийца ускользнул из рук правосудия, и в особенности то, что выдавший Кремлянского рабочий был убит,—сыграло решающую роль. Против него показывало четыре человека, лично против него озлобленных и смешивавших его—быть-может, вполне искренно—с похожим на него Чернилиным. Кремлянский был приговорен к казни и повешен.

Очевидцы уверяли, что труп его был зарыт на свалке за городом. Вскоре свиньи, роясь в мусоре, раскопали его тело и изгрызли его. Когда об этом узнала мать Кремлянского, она впала в буйное помешательство и через месяц умерла.

В 1907 г. из севастопольской организации партии социал-революционеров выделилась почти вся боевая дружина и, под руководством бывшего вольноопределяющегося Ростов-

ского полка Афанасьева-Мартовского и бывшего социал-демократа Богданова-Андреева, составила новую группу террористов-экспроприаторов. Эта скорее вульгарно-анархистская, чем социалистическая группа называлась „Свобода внутри нас“. 15 октября пять человек из дружины ехали из Севастополя в Балаклаву, с намерением экспроприировать тамошнее почтовое отделение. В восьми верстах от города они столкнулись с ехавшими в экипаже приставом Гроздевичем и вахмистром Доброшинским. Гроздевич заподозрел их в чем-то, остановил и потребовал паспорта, но те в ответ дали залп в него из своих браунингов: пристав оказался пристреленным на-смерть, а жандарм спасся только тем, что, будучи легко ранен, притворился мертвым.

Не совершив задуманного ограбления, боевики сейчас же разъехались, но через два-три месяца некоторые из них были арестованы по предательству их же товарища Григория Голубева. Одного из группы, Михаила Кучерова, сейчас же судили и повесили, а остальные судились потом, в августе 1909 г. Среди них очутился и Петр Ткаченко, сын зажиточных мещан, никогда ни к каким революционным группам не имевший никакого отношения. По подозрению он был арестован, а наружность его показалась до того знакомой вахмистру Доброшинскому, что он признал в нем нехватавшего для комплекта боевика. В действительности, во время стычки с приставом и жандармом, Ткаченко находился в Феодосии и собирался в гости к своей тетке, но ее показаниям военный суд не дал вероятия, и Ткаченко, приговоренный к смертной казни, уходит в херсонский централ с бессрочной каторгой.

Еще до этого, в декабре 1908 г., по делу той же „Свободы внутри нас“, только по 2-й части 102 статьи привлекалось 17 человек, — из них четверо получили каторгу ни за что ни про что. Когда полиция арестовала в гостинице действительного члена этой группы Рожановского, она заодно прихватила и некоего Федора Саютина, случайно находившегося в другом номере этой же гостиницы. Он был знаком с Рожановским, — следовательно, есть основание обвинить его в принадлежности к той группе. С Саютиным я лично потом встречался на поселении в селе Знаменском, Верхоленского уезда, и могу с полной категоричностью утверждать, что членом „Свободы внутри нас“ он не состоял. Попав в тюрьму, Саютин завел не-

легальную переписку со своими приятелями по воле — Афанасием Пенковым и Мирошниченко. Набравшись уже в тюрьме революционного духу, Саютин писал записки определенного содержания, поругивал правительство, сообщал тюремные новости и т. п. Письма эти попадали в руки полиции, и Пенков, вместе с Мирошниченко, привлекаются, как члены все той же группы, в которую они вовсе не входили.

К этому же делу притянули еще и молоденького музыканта Георгия Гизера, первоначально арестованного по одному со мною делу. Отбывая срок наказания, он бежал из тюрьмы во время массового (со взрывом наружной стены) побега оттуда. Пробыв на свободе ровно три дня, он был арестован на хуторе вместе с вышеупомянутым Афанасьевым-Мартовским, который задолго до этого осужден был на бессрочную каторгу за участие в декабрьском восстании и благополучно бежал с дороги в Сибирь. Деятельность группы „Свобода внутри нас“ развивалась в то время, когда Гизер сидел в тюрьме...

Мартовскому, как и без того бессрочному, заменили обычные восемь лет кандального срока восемнадцатью годами да ста сутками карцера, а невинные Саютин и Пенков получают по шести лет каторги, которые они и отбыли в херсонском централе. Мирошниченко, человека пожилого, наградили четырьмя годами и сослали в Николаев, а Гизеру, имевшему раньше три года простой тюрьмы, дали по совокупности (за побег и за „участие“ в группе) девять лет, которые он и отбыл в Москве.

* *
*

Торопливость, с какой военные суды выносили смертные и каторжные приговоры, носила прямо-таки истерический характер. Когда вспоминаешь, что по делу о московском вооруженном восстании суду пришлось оправдать 78 человек; что по делу о Люботинском (за Харьковом) восстании оправдано три четверти всего числа подсудимых; что много нашумевшее дело о так называемой Новороссийской республике разбиралось три раза, при чем приговор варьировался от четырех месяцев тюрьмы до смертной казни (например, по отношению к учителю Бояпскому); или, наконец, что шести колонистам Одесского уезда, избившим полицейского Слепака, который в пьяном виде приставал к их женам, смертная казнь („бунт“!) была при новом

разборе заменена двухнедельным арестом,— когда вспоминаешь подобные факты, то поневоле соглашаешься с утверждением юриста и депутата г. Тесленко, который квалифицировал работу нашего следственно-обвинительного механизма, как „продукт товарного машинного производства“.

В статьях Вл. Короленко („Бытовое явление“ и „Черты военного правосудия“), д-ра Д. Жбанкова, и особенно в хронике журнала „Право“, будущий историк найдет обильнейший материал на эту тему. Такие дела, как казнь несчастного Глускера, смертный приговор над Кузнецовым, приостановленный *) в виду телеграммы его защитников на имя министра, а также приостановленный смертный приговор над интеллигентным юношей Перецом Айзенбергом, которого осудили вместо профессионального грабителя Лейбы Айзенберга, — надолго останутся памятниками нашего контр-революционного правосудия. А таких дел — были десятки, а то и сотни. Не меньшим украшением этого сорта правосудия являются и такие следователи, как нашумевший на всю Россию Лыжин (опускавшийся до форменных подлогов по процессу дашнакцутюнов) или Шпиганович (состряпавший дело 102 анархистов).

Характерен также и тот факт, что множество показаний и сознаний вынуждается посредством избиений и истязаний. Хроника этих эксцессов, собранная в одно целое, производит ошеломляющее впечатление, а между тем эксцессы эти зарегистрированы документально, — вспомните хотя бы пытки в рижском застенке под руководством Грегуса, продолжавшего свои подвиги даже в 1916 г. в Харькове, где он, немец родом, обратился в Марковского.

Девятого іюня 1907 г. на кассира стеклянного завода села Ивота, Брянского уезда, Орловской губ., было совершено разбойное нападение. Из двух стражников, сопро-

---

*) К несчастью, не всегда смертные приговоры приостанавливались. Так, например, 19 янв. 1907 г. по делу о вооруженном сопротивлении были повешены в Одессе четыре человека: два брата Трегеры (18 и 20 лет), Оренбах и Зейгерман. Потом выяснилось, что они пали жертвой ужасной судебной ошибки. Мать Трегеров впала в буйное помешательство и несколько раз пыталась покончить с собою. („Право“ 1907 г., № 5). В газете „Речь“ 20 авг. 1908 г. сообщалось, что в Самаре повешены были три человека, и через два часа после казни прибыло распоряжение отсрочить казнь... Может-быть, и эти трое были люди невинные?..

вождавших кассира, один был убит, а другой ранен. Ранена была и лошадь кассира, которая сгоряча увезла кассира вместе с деньгами. Хотя экспроприация и не удалась, но зато и сами грабители успели скрыться. Встревоженная полиция начала розыски. Все мало-мальски подозрительные лица арестовывались. В таких случаях, в категорию „подозрительных“ попадают все известные полиции воры, или даже простой обыватель, сидевший в тюрьме, а то и партийный рабочий, скрывающийся от полиции, хотя бы по соображениям, нечего общего с данным ограблением не имеющим. Полиции и сыщикам, ведь, не до тонкостей, сентиментальничать с российскими гражданами им не к лицу. Знают они, что многие бывшие и настоящие революционеры из партийной молодежи попадались на „эксах“, вот и забирают всякого, кто подходит.

Через несколько дней полиция арестовывает рабочего Карпова, проживавшего в тридцати верстах от станции Ивота. Во время допроса помощник пристава второго стана Брянского уезда Мотин страшно избил его. Чтоб прекратить истязания, Карпов крикнул:

— Сознаюсь!.. Это я, я ограбил!..

— Ага! Наконец-то! Говори, кто еще участвовал?—обрадовался Мотин.

Но Карпов сам к этому делу не был причастен, и назвать кого бы то ни было, разумеется, не мог. Тогда стражники принялись еще сильнее избивать его и при этом стали подсказывать некоторые фамилии. Назвали ему каких-то Бузова и Владимира Павлова. Карпов поспешил признать их своими соучастниками, после чего избиение прекратилось. Тех двоих немедленно арестуют, при чем, когда забирали Павлова, он бросился бежать, но кто-то подставил ему ногу, и он упал. Видя, что арест неминуем, он выхватил из кармана браунинг и швырнул его в сторону.

На допросе у следователя Карпов отказался от своих прежних показаний и заявил, что сам он в ограблении не участвовал, что Бузова и Павлова он назвал только для того, чтобы его скорее отвели в тюрьму. На суде документально, выписями из книг и табели установлено было, что в момент ограбления Бузов находился совсем в другом месте, а именно на заводе, где работал, а Владимир Павлов... а Владимир Павлов лежал в это время больной в лечебнице. Военный суд обоих оправдал, а Карпова все-таки повесили 14 декабря 1907 г. Но но

невинен: в нашем орловском централе некоторые каторжане знали действительных участников ограбления, все они остались на воле...

Во всяком случае, в отношении Бузова и Павлова полиция дала маху, потерпела фиаско. Но это, ведь, ее компрометирует. Надо, следовательно, взять реванш. И вот она поднимает новое дело против Павлова: она теперь обвиняет его в том, что во время ареста он не просто швырнул свой браунинг в сторону, а якобы целился в жандарма. Об этом обстоятельстве при первом разборе дела не было сказано ни одного слова. Теперь Владимира Павлова, уже выпущенного-было на волю, снова арестуют, и за „вооруженное сопротивление при аресте“ приговаривают к казни. В марте 1908 г. его повесили в орловской тюрьме.

Знакомясь с иными невинно-осужденными, видишь, как забитость, неразвитость и бестолковость российского обывателя, особенно крестьянина, часто служит причиной тому, что такой безъязычный российский обыватель зря попадает на каторгу. Необычная для простолюдина обстановка суда, слабое сознание своих прав сковывают такого подсудимого, осуждают его на пассивность и чисто-рабий фатализм; в лучшем случае он у следователя и на суде воет и божится в своей невиновности, не будучи в силах толково и убедительно доказать ее. Мне думается, что в какой-нибудь Англии или в Америке простолюдин вел бы себя в таких случаях поумнее.

В орловском централе сидел со мною рядом Егор Т а л а л а е в, служивший кондуктором на Варшаво-Венской железной дороге. Когда чиновник, заведывавший бригадой, скверно обращавшийся с подчиненными, был убит одним социал-революционером, благополучно скрывшимся, то в качестве обвиняемого привлечен был Талалаев, как-то в присутствии других выразившийся по этому поводу:

— Собаке собачья и смерть...

Во время убийства Талалаев находился у себя дома; с убитым чиновником лично у него не было никаких столкновений; ни к каким партийным группам он не принадлежал; по характеру он человек тихий, уступчивый и безобидный,—но все это не мешало ему получить 17 лет каторги. По манифесту 21 февраля 1913 г. ему сбросили одну треть срока, но это не спасло его от роковой участи, на которую обречено большинство долгосрочных: заболев чахоткой, Талалаев умер в следующем 1914 году.

В той же тюрьме находился Иван Пахомов, крестьянин Воронежской губ., робкий и богомольный мужичонка. Какие-то парни, отправляясь на ограбление, зашли к нему по дороге купить молока. Потом они были пойманы, судимы и повешены,—ограбление было с убийством. Пахомову же, не имевшему никакого представления ни о них ни об их замыслах, суд дал 15 лет каторги.

В одной с ним камере жил крестьянин Киевской губ. Павел Карнаухов. Как-то он подрался со своим земляком, человеком мелочным и мстительным. Когда поблизости случилось ограбление и преступник скрылся, односельчанин Карнаухова донес на него полиции и даже на суде оговаривал его. Неотесанному и не умеющему связать пары слов, но абсолютно невинному Карнаухову дают четыре года каторги. Находясь уже в нашем централе, он получил письмо от своего погубителя, буквально следующего содержания: „Я на тебя набрал. Я думал, что тебя продержат немного и выпустят, а оно вышло не так. Я ходил к батюшке, и он сказал, что это я сделал грех непростительный и Бог меня накажет. Прости и скажи, что теперь делать, я готов хоть сам сесть на твое место, потому—совесть мучает“. Родные Карнаухова ходили к адвокату вместе с этим свидетелем. Но за хлопоты по ведению столь сложного дела адвокат потребовал двести рублей.

Случай в роде приведенного выше с одесситом Перецом Айзенбергом приключился и с одним нашим бессрочным каторжанином Павлом Солодовниковым, жителем одной деревни неподалеку от станции Злынка, Черниговской губ. Какой-то Александр Солодовников, до этого проживавший в Киеве и направлявшийся в поисках работы в Черниговскую губ., по дороге ограбил одну еврейку и скрылся. Потом он совершил другое преступление в другом месте и получил за него 20 лет каторги. Придя в Орел, он очень удивился, когда узнал, что там сидит еще один Солодовников, осужденный на бессрочную каторгу за дело, которое совершил он сам, Александр. Переменить свои 20 лет на бессрочную ему очень не хотелось, и его злополучный однофамилец продолжал ни за что ни про что тянуть каторжную лямку.

* * *

Весьма характерным в отношении бытовой обстановки, но и весьма ужасным в отношении последствий является дело, подробности которого мне досконально известны.

В ночь с четвертого на пятое сентября 1907 г. на контору бутылочной фабрики в селе Знеберь, Брянского у., Орловской губ., было совершено вооруженное нападение. Перерезав телефонную проволоку, соединявшую контору с полицейским станом, двое грабителей, обвязав лица тряпками, ворвались в комнату, где занимались конторщики, и крикнули:

— Руки вверх!.. Ни с места!..

Один из них держал револьвер над головой испугавшихся служащих, а второй стал разбивать ломиком денежный ящик. Не сумев справиться с этим, он вышел в сени, позвал стоявшего там третьего соучастника, и вдвоем они сделали все, что нужно. Забрав деньги и лежавшие в ящике конфеты, экспроприаторы скрылись, сделав при этом выстрел в потолок.

Конторские служащие от неожиданности и испугу долго еще боялись говорить, но, придя в себя, дали знать фабричной администрации, а потом стали звонить в телефон. Когда ответа не получилось, некоторые поехали на дрезине до первого полустанка и оттуда уже снеслись с приставом. На место происшествия он приехал лишь к семи часам утра следующего дня.

Тут же при фабрике жил конторский мальчик и писарек Федор Сергеев. Квартировал он у Кривцова, и с его 19-ти-летним сыном водил дружбу. Сам он был парень нервный и впечатлительный, робкий и обыкновенно боявшийся даже спать один. И на этот раз ночь с 4-го на 5-е сентября он провел вместе с Иваном Кривцовым. Большой трус, Сергеев тем не менее любил корчить из себя героя и, услышав про чью-нибудь отчаянную выходку или смелый поступок, он полусерьезно, полушутя уверял всех, что то-то и то-то—дело его рук. Участившиеся в это время и особенно в их фабрично-заводском районе грабежи и экспроприации давали обильную пищу фантазии этого юнца: он долго и часто бахвалился подвигами, совершенными совсем другими. В семье Кривцовых знали про эту его слабость, часто подсмеивались над ним, или же шутки ради кто-нибудь из них, бывало, стукнет в окно и грозно спросит:

— А где здесь живет Федор Сергеев, известный террорист и экспроприатор?.. Именем закона арестуем его...

Услышав это, Сергеев начинал в серьез плакать, а присутствовавших при этой сцене это еще больше

забавляло. Даже впоследствии, сидя в тюрьме, Сергеев любил рассказывать арестантам о якобы совершенных им ограблениях и убийствах, о которых он знал с чужих слов, а то и просто сочинял экспромпты. При этом он так путал обстоятельства времени и места, что товарищи скоро решили, что он „меланхольный", и вовсе перестали прислушиваться к его болтовне.

Предоставляю специалистам-психиатрам определить сущность и форму душевной болезни этого юноши.

Утром пятого сентября Сергеев пришел в контору и тут впервые узнал о героическом, по его мнению, происшествии, имевшем место накануне ночью. Когда он пошел домой завтракать, он по дороге рассказал знакомому лесничему про местную новость дня.

— Вот, дядя,—прибавил он при этом,—и я скоро приду к вам и скомандую: „Рр-руки вверх!.. Деньги—или бомба!.." Вот будет потеха!

— Приходи, приходи, братец,—отвечал ему лесничий,—у меня для таких молодцов свинцовые орехи приготовлены.

Разговорившись как-то с приставом Золотовым, лесничий, между прочим, передал ему и свой разговор с Сергеевым: дескать, какая молодежь нынче пошла, что у нее на уме лежит... Золотов призывает к себе Сергеева и спрашивает:

— Знаешь ли что-нибудь про это дело?

— Как же!—отвечает тот, не задумываясь.—Ведь эксто я и сделал!

— Ты?!—удивляется Золотов.—Ну, а еще кто был с тобой?

Сергеев начал сыпать фамилиями знакомых рабочих, какие только пришли ему в голову. Конторщики видели т р о и х грабителей. Сергеев же назвал не более и не менее, как в о с е м н а д ц а т ь человек участников. Всех их тотчас же арестовали, строго допросили, но оказалось, что в ту ночь они все до единого не отлучались из мастерских, где находились на ночной смене. Их, разумеется, выпустили, но самого Сергеева пристав на всякий случай задержал.

Когда стали соединять прерванную телефонную проволоку, то неподалеку нашли какую-то фотографическую карточку, запачканную, полустертую и, очевидно, давно уже лежавшую в грязи. У пристава явилось подозрение, не грабителям ли она принадлежит? Правда, это, должно-быть, совсем уже особенные грабители, которые идут „на дело" с фотографиями в кармане, но Золотов, предположив, что

она могла быть утеряна грабителями случайно, начал расспросы, пока не установил, что один из двух изображенных на фотографии юношей есть Константин Тимошков.

Жил он в семи верстах от Знебери, в селе Стари. Являются к нему с обыском, он показывает, что другой снятый с ним—Алексей Кудрявцев, живший в том же селе и работавший слесарем на Мальцевской фабрике. У него на квартире нашли конфеты и отвертку, которой вынимают гвозди. Возможность своего участия в ограблении Кудрявцев категорически опроверг: весь вечерь и всю ночь с 4-го на 5-е сентября он провел у себя дома, т.-е. в семи верстах от Знебери; подтвердить это могут все соседи, а также и некий Николай Салов, проведший эту ночь в доме Кудрявцевых. Золотов разыскал его в другом месте, и он, не зная, в чем дело, сейчас же подтвердил слова Кудрявцева. На всякий случай пристав арестовал и Тимошкова и Кудрявцева с Саловым.

По подозрению взяты были еще: Иван Щетинин, дней за 15 до ограбления поступивший на бутылочный завод и известный приставу, как член с.-р—ской организации, затем Дмитрий Нефедов, Семен Маслов и дочь заводского служащего Мария Евсютина. У Щетинина на квартире нашли марлевые бинты и тут же вспомнили, что грабители были с обвязанными лицами. Были конфискованы также и его ботинки; Золотов примерил их к следам возле конторы и признал, что это следы именно от ботинок Щетинина. У Нефедова нашли патрон от револьвера Смит-Вессон 320 калибра. Нефедов был известен, как очень энергичный и деятельный социал-демократ, тем более, что он уже отсидел в тюрьме восемь месяцев за агитацию среди крестьян. Золотов давно уже точил зубы на этого неспокойного рабочего и воспользовался первым подходящим случаем, чтобы арестовать его.

Когда пристав вторично допросил Сергеева, тот снова заявил, что ограбление совершил он и его приятель Иван Кривцов. Их обоих, вместе со всеми вновь арестованными, отвезли в стан, при чем в течение целого часа стражники избивали Щетинина, Маслова и Кривцова, требуя от них сознания. После допроса в стане Золотов освободил Маслова, Евсютину, которую знал лично, и Тимошкова, сына лавочника, снятого на одной карточке с Кудрявцевым. Сергеева же пристав держал в своей собственной квартире, отдельно от остальных. Своими соучастниками Сергеев теперь при-

знал, кроме Кривцова, еще и всех остальных, в том числе и тех, которых Золотов отпустил на свободу. В действительности же Сергеев никогда и в глаза не видал Нефедова, Тимошкова, Кудрявцева и Салова. Когда пристав назвал ему последних двух, он стал путать, то признавая их своими знакомыми, то нет; когда же Кудрявцев потребовал, чтобы Сергеев тут же указал в лицо, кто именно Кудрявцев и кто Нефедов, то Сергеев отказался сделать это.

Должно-быть, сам пристав не очень-то верил Сергееву и всех арестованных держал при стане совершенно свободно. Днем они могли уходить куда угодно и только на ночь должны были возвращаться назад в стан. Им легко было скрыться, но они этого не делали, полагая, что и сам пристав освободит их. В таком положении они находились дней десять, после чего все шестеро были отправлены в Брянскую тюрьму. Когда дня через два следователь допросил Сергеева, последний начал пороть всякий вздор: Нефедов и Щетинин ломали ящик, а он, Сергеев, держал револьвер... (самое эффектное он себе оставил), Кудрявцев будто бы стоял где-то на улице, а Салов, мол, хотел участвовать в „экс", но не успел прийти во-время.

— Ну, ваше высокородие, теперь отпустите меня домой,—я ведь вам все сказал,—добавил Сергеев, но следователь, конечно, отказал ему. Выйдя от него в переднюю, Сергеев сказал конвоировавшему их городовому:

— Дядя, а что, если я все неправду сказал, мне хуже будет?

— Ну да,—ответил тот,—надо правду говорить.

Услышав это, Сергеев заплакал и просил, чтобы его опять пустили к следователю. На этот раз он показал, что на ограблении он вовсе не был, и назвал свидетелей, которые могут доказать, что в ту ночь он спал дома, вместе с Кривцовым. Потом Сергеев то уверял, что оговорил остальных арестованных по наущению пристава, который обещал выпустить его за это на свободу, то божился, что сделал это, не подозревая, что из этого может выйти. Из тюрьмы он писал прокурору о своей и всех других непричастности к делу. Еще в участке пристав спросил его, куда он девал револьвер, которым был вооружен один из грабителей. Сергеев указал одно место в чьем-то огороде, стали копать и рыть там, но решительно ничего не нашли.

Сергеева осматривали врачи, которые и нашли, что он душевно здоров. Странно... *).

Несомненно, что, произойди все это не в такое тревожное время и разбирайся не в военном, а в обыкновенном суде, все эти юноши, даже если бы не были освобождены до суда, то были бы оправданы на самом суде, а пристав Золотов и судебный следователь получили бы нагоняй за свое чрезмерное усердие и за свой слишком уже неумеренный административный восторг. Ведь был же случай („Право“ 1907 г. № 11), что полтавский военно-окружной суд, пред которым прошла ужасная картина полицейского дознания, оправдал пятерых подсудимых по статье, которая угрожала им смертной казнью,—и это несмотря на то, что обвиняемые „сознались“ в том, чего они вовсе не делали.

В данном случае суд, вероятно, был загипнотизирован совпадением целого ряда обстоятельств: фотографическая карточка недалеко от места происшествия, конфеты и отвертка у Кудрявцева, патрон у Нефедова, бинты у Щетинина, показания завравшегося и запутавшегося психопата Сергеева... При разборе дела выяснилось, что фотографической карточки у Кудрявцева не было; в Знеберн он ни разу не был, так что не мог даже обронить ее; Тимошков, которого пристав освободил, и который спит вместе с Кудрявцевым, был любитель-фотограф, и на прилавках отцовского магазина у него всегда валялись карточки, виды и т. п.; по всей вероятности, кто-нибудь из покупавших в лавке Тимошковых случайно забрал ее, а потом уронил или бросил, что могло произойти задолго до ограбления, так как доставленная приставу фотография была довольно истерта; возможно еще, хотя и менее вероятно, что сни-

---

*) Я, конечно, никоим образом не берусь судить об основательности этого заключения. Но до чего иной раз бывают несовершенны психиатрические экспертизы, вот тому пример: в 1913 г. некто А. Головач, кончивший гимназию, похитил у товарища паспорт, по которому пытался получить с почты 100 р., и кроме того составил и отпечатал указ на свое имя о том, что великий князь Николай Николаевич возводит его в знание придворного камергера. У следственной власти возникло подозрение в его душевном здоровье. Врачи первой психиатрической больницы (Винницкой), в которую его поместили сначала, признали его здоровым, зато психиатры Киево-Кирилловской лечебницы, куда он попал для вторичного исследования, нашли, что он страдал и страдает тяжким душевным недугом. Суду его все-таки предали, но присяжные вынесли оправдательный вердикт и собрали для него 11 рублей.

мок этот как-нибудь попал к жившим в этом районе участникам ограбления, и они, чтобы отвлечь внимание, нарочно подбросили ее недалеко от места происшествия *).

Отобранные у Кудрявцева конфеты кассир не признал своими: похищенные у него были другого сорта и другой фабрики. Простая отвертка от гвоздей, которую суд, поверив эксперту, признал орудием, подходящим для взлома денежного ящика,—вещь самая обыкновенная в доме, особенно у фабричного слесаря.

Патрон, найденный у Нефедова, был 320 калибра, тогда как выпущенная грабителями пуля была 380 калибра. Орудование револьвером Сергеев приписывал лично себе, следовательно сам Нефедов тут ни при чем, тем более, что патрон, лежавший у него в кармане жилетки, был выстрелян им еще в марте, т.-е. за полгода до ограбления, и оставлен им у себя для тросточки. Да и что̀ это за грабитель, который, сделав выстрел в потолок конторы, прячет патрон и держит его вплоть до ареста?.. Происхождение бинтов, найденных у Щетинина, последний объяснил тем, что брат его фельдшер, а сам он, как слесарь, держал их у себя, чтоб перевязать порезанный палец, и т. д. Что касается следов от его башмаков, то, начиная с двенадцати часов ночи, когда совершено было нападение, вплоть до того времени, когда пристав, приехавший на место лишь на следующий день, сделал примерку, там ступали десятки ног и имелись сотни следов. У Салова и Кривцова ничего

*) Мне известен один действительный случай в этом, приблизительно, роде, когда на каторгу угодил юноша, ни в чем неповинный. Случай этот тем более возмутителен, что некрасивую роль сыграл тут человек, претендовавший на звание идейного. Некий Захар Дор-н сорганизовал из молоденьких учеников уфимского ремесленного училища кружок анархистов и вместе с двумя юнцами совершил зимой 1907 г. экспроприацию каких-то торговых бань. Забрали они всего рублей восемь, никого, впрочем, не убив и не ранив. Одного из нападавших, 17-летнего Кулагина, арестовали по свежим следам и основательно избили в сыскном отделении. Еще до этого Дор-н условился с ним, чтобы в случае ареста, если уж неизбежно будет назвать кого-нибудь, он назвал бы своим соучастником некоего Боголюбова, поразительно похожего на самого Дор-на. Кулагин так и сделал. Потерпевший и свидетели чистосердечно приняли одного за другого, и Боголюбов, не имевший никакого отношения к делу, приговаривается, вместе с Кулагиным, к смертной казни... Генерал Костич, главнокомандующий Казанским Округом, заменил им повешение каторгой: Кулагину десятью, а Боголюбову двенадцатью годами. По дороге в Сибирь Кулагин был убит арестантами: ему отомстили за то, что, слушаясь Дор-на, он погубил невинного человека.

подозрительного найдено не было, и судились они исключительно по оговору Сергеева. Сам Сергеев на суде рыдал, как ребенок, но показания его носили тот же сумбурный и вздорный характер, что и прежде. Конторские служащие не признали никого из подсудимых, не признали даже Сергеева, величавшего самого себя главным участником ограбления.

Военный суд (председателем был генерал Минин, а прокурором полковник Железов) вынес следующую резолюцию: 1) Федора Сергеева приговорить к смертной казни, но в виду его чистосердечных показаний заменить повешение 20-ю годами каторги; 2) Дмитрия Нефедова, Ивана Щетинина, Алексея Кудрявцева и Ивана Кривцова приговорить к смертной казни; 3) Николая Салова—к двум годам крепости. Кудрявцеву и Кривцову, в виду их несовершеннолетия, повешение заменить двадцатью годами каторги.

Адвокаты, в особенности один из них, г. Афонский, все время ставили на вид, что они имеют дело с военными судьями, раздраженными совершающимися кругом убийствами и ограблениями и не любящими вникать в сложные подробности подобных дел,—поэтому, мол, лучше и проще всего признать себя во всем виновными, просить снисхождения, а потом уже ходатайствовать о пересмотре дела. Но наши юноши, наивные и простосердечные, никак не могли согласиться наклепать на себя напраслину. Кассацию приговора они не подавали. Адвокаты, должно-быть, привыкшие к порядкам военного правосудия, относились к делу халатно, а подходящих связей и денег у подсудимых, рядовых рабочих, тоже не было. До приведения приговора в исполнение защитники два раза приезжали в тюрьму и убеждали Нефедова и Щитинина послать телеграмму на имя царя с просьбой о помиловании. Но те не согласились на это. Да и не верилось им, чтобы все это в серьез было: ведь еще до перевода их в тюрьму пристав Золотов держал их так свободно, что они могли бы легко скрыться.

В ночь с 14-го на 15-е марта 1908 г. Дмитрий Нефедов и Иван Щетинин, оба несовершеннолетние, были повешены. Сергеев, Кудрявцев и Кривцов были отправлены в нашу орловскую каторжную тюрьму. Салов отбыл свои два года крепости, но, сидя в тюрьме, заболел чахоткой и через месяц по выходе на волю умер. Кривцов, кстати, в отличие от остальных, ярый монархист, парень тихий и богомольный, до ареста разъезжавший с матерью по монастырям

и никогда не знавшийся ни с революционерами, ни с экспроприаторами, не вынес всех этих треволнений. По приходе в централ, он, вместе с остальными, был страшно избит кулаками и резинами—таков был у нас порядок при инспекторах фон-Кубе и Сербинове и начальниках Мациевиче и Синайском. То же было и с Кудрявцовым, которого Синайский даже раз выпорол за протест против избиений. Кривцов по целым дням плакал, плакал, зачах и умер. Кудрявцев, на редкость честный и искренний, целомудренный телом и душою, стройный и крепкий юноша, попав в централ цветущим и румяным, схватил туберкулез и, будучи на плохом счету у начальства, был переведен в херсонскую каторжную тюрьму, где, вероятно, находится и сейчас.

Читатель, быть-может, спросит: какова же похищенная сумма, из-за которой погибло столько юных жизней?

А вот: по бухгалтерским книгам из денежного ящика было забрано грабителями 40 р.,—сорок рублей. Из них 12 рублей грабители уронили в конторе же. Следовательно на двоих повешенных, двоих умерших и двоих томящихся на каторге приходится всего 28 рублей, по 4 рубля 70 коп. на душу человеческую. Как будто дешево...

* *
*

Не менее трагично было положение п.-п.-с—вца Рогова и социал-демократа Барциковского, осужденных по делам, которых они не могли сделать уже по одним принципиальным соображениям.

В 1908 г. некоторые члены Радомского комитета P. P. S. Шенк, Гарбовский, Мушальский и Доманский были привлечены к суду за вынесение террористических приговоров. Их несколько раз судили за это, но за полным отсутствием фактических улик приходилось их оправдывать, и только после убийства жандармского офицера в Радоме их приговорили к казни, замененной потом бессрочной каторгой. Членом окружного комитета состоял, между прочим, и один типограф Герш Рогов (кличка „Густав“), очень образованный и серьезный, в высшей степени преданный делу социалист, идеалист каких мало. Через год после осуждения его товарищей он был арестован вместе с Пекарским (кличка „Гриб“), инструктором боевой организации, деятельным террористом, совершавшим прямо легендарные подвиги. Рогов не только не имел отношения к убийству

жандармского офицера, но все время энергично восставал против террористической практики P. P. S. Дело это вел впоследствии убитый своими же агентами полковник Воисяцкий, умный и изобретательный инквизитор, плодивший провокаторов и очень авторитетный в глазах военных судей. Все это дело носило лубочно-тенденциозный характер, и уже одно нахождение на одной скамье с Роговым известного террориста Пекарского решило его участь. Обоих приговорили к повешению. 5 июня 1909 г. Рогова и Пекарского повесили в варшавской цитадели. До самого последнего момента Рогов держался с удивительным самообладанием. Однажды ночью жандарм открыл дверь их каземата и объявил им, будто адвокат пришел к ним. Они сообразили, что это значит. Пекарский, несмотря на обычную для него выдержку и стойкость, растерялся, но Рогов взял его под руку и вместе с ним направился к эшафоту. До этого он оставил прощальное письмо с призывом не прекращать борьбы за политическое и социальное освобождение рабочего класса. Жена Рогова, жившая в то время в Париже, узнав подробности казни мужа, сошла с ума.

В Царстве Польском при генерал-губернаторе Скалоне так уже велось, что если где-нибудь происходило убийство на политической почве и непосредственный виновник не оказывался под руками, то так или иначе, но кто-нибудь из его хотя бы и самых отдаленных единомышленников должен был непременно пострадать за это. Тут практиковалась своеобразная круговая порука. Жертвой этой системы и пал Рогов.

Не лучше обстояло дело и с Александром Барциковским.

В 1907 г. аптекарский ученик, по фамилии Копейка, член социал-революционерской организации г. Ровно, убил околоточного надзирателя Калиновича. Убийство это произошло вечером в цирке. Молодому террористу удалось скрыться и бежать в Америку. Были произведены массовые обыски, забирали и социал-революционеров и социал-демократов, вообще всех, кто наиболее известен был полиции. Однако из 18 человек арестованных 17 пришлось освободить—слишком уже очевидна была несомненнейшая их непричастность к этому делу. Зато арестованный вместе с ними Барциковский, бывший прапорщик, уволенный из полка по подозрению в сочувствии к социалистам, за неимением более подходящих, был оставлен на поживу.

Сестра убитого Калиновича и ее жених (тоже полицейский надзиратель), знавшие Барциковского как революционера, были почему-то уверены в том, что он знает местонахождение настоящего виновника и вообще имеет касательство к делу.

Барциковского предали суду. В пользу его совершенной непричастности показывали многие свидетели, против него говорили только сестра Калиновича и ее жених. В числе судей было также три пехотных офицера из того самого полка, из которого исключили Барциковского; они были заранее предубеждены против него, как против крамольника, а считаться, например, с тем, что Барциковский, убежденнейший социал-демократ, не мог участвовать в террористическом акте, у них не было ни желания ни умения. Защищал Барциковского присяжный поверенный Марголин из Киева. На суде он, между прочим, хотел-было прочесть официальное заявление, выпущенное комитетом П. С. Р. и категорически удостоверявшее, что Калиновича убил член партии Копейка. Но председатель суда, генерал Антонов стал кричать на адвоката, грозил лишить его слова и так и не дал ему прочитать вслух этот документ.

Барциковский был приговорен к бессрочной каторге и отправлен в орловский централ, где я с ним лично и встречался.

*
*

По случаю ремонта моей одиночки мне пришлось прожить некоторое время с каторжником Мефодием Никулиным. Это был здоровенный и плотный, лет 33, мужчина с черными волосами и туповатым исподлобья взглядом. Всегда молчаливый и угрюмый, он и на прогулке ходил с опущенной головой, смотря впереди себя в одну точку. Он совершенно безграмотен, удивительно неразвит и туг на понимание чего-либо отвлеченного.

На воле у него остались жена и ребенок. Одного брата, осужденного за ограбление и сосланного в наш же централ, забили на-смерть. Другой его брат, как и очень многие из рабочей молодежи того времени, „вдарился в эксы", как выражался Никулин. Однажды, после неудачного ограбления, он, будучи ранен, прибежал к Мефодию и через несколько дней умер. Сам Мефодий ни к каким экспроприациям отношения не имел, но под влиянием паники, наведенной деятельностью военных судов, он, во избежание

ареста и других осложнений (брат его оставил на квартире несколько оболочек от бомб), переселился в далекую Сибирь, где и устроился монтером на золотых приисках. Он уже собирался выписать к себе свою семью, как вдруг его арестовали. Дело было в следующем.

Еще 17 мая 1907 г. в одном руднике, отстоящем верст на 17 от того места, где в это время находился Никулин, был убит инженер Шарыгин, очень скверно обращавшийся с рабочими. Что во время убийства Никулин находился далеко от того места, было установлено впоследствии табелью и конторскими записями. О самом инженере Шарыгине Никулин ничего не знал, а подробности убийства стали ему известны лишь от других лиц, и то лишь тогда, когда он года через три попал в екатеринославскую тюрьму. Следствием было установленно, что в убийстве Шарыгина участвовал какой-то Никулин, а так как Мефодий обратил на себя внимание полиции своим внезапным исчезновением после смерти брата-экспроприатора, то его и стали усиленно разыскивать. Затем где-то под Луганском одной группой социал-революционеров организовано было нападение на конвой, с целью освобождения арестованных. В качестве соучастника в этом деле тоже заподозрен был все тот же Никулин.

Узнав, где находится Мефодий Никулин, полиция распорядилась арестовать его. Из дремучей Сибирской тайги он был доставлен этапным порядком в Екатеринослав. Уже сидя в тюрьме, Никулин узнал, что в одной камере готовится побег, и что, если все сойдет благополучно, то, быть-может, открыты будут и другие камеры. Никулин, на всякий случай, перепилил свои кандалы (в виду серьезности обвинения его держали закованным). Однако до побега не дошло: один уголовный донес обо всем начальству. Стали ходить по камерам, делать обыски. На том основании, что у Никулина тоже порезаны кандалы, его тоже „припаяли" к делу о побеге и вплоть до суда держали изолированным рядом со смертниками.

Привлекали еще Мефодия Никулина и за принадлежность к партии социал-революционеров, о каковой партии он даже и теперь имеет самые смутные и сбивчивые представления.

— Если бы я такими делами занимался,—говорил он мне,—тогда другое дело, а то какой из меня партийный, когда я человек семейный и грамоте не умею...

Дело об убийстве инженера Шарыгина, имевшем место в 1907 г., разбиралось лишь в 1911 г. Мефодия Никулина обвиняли: 1) в укрывательстве брата, забежавшего к нему с оболочками от бомб в руках; 2) в участии в убийстве Шарыгина; 3) в нападении на конвой под Луганском; 4) в принадлежности к партии социал-революционеров; 5) в покушении на побег из екатеринославской тюрьмы.

Небрежность судопроизводства — поразительная. Такие наглядные несообразности и противоречия могли иметь место только в такое время, когда классовая подоплека современного правосудия выступила с наиболее выпуклой обнаженностью. Тот Никулин, который, действительно, участвовал и в партии социал-революционеров и в убийстве Шарыгина, был по показанию свидетелей блондин, и звали его Абрам, и он давно уже успел скрыться за границу. Наш же Никулин черен, как жук, и зовут его Мефодий. Дальше. Каким-то образом на скамье подсудимых очутился и приятель нашего Никулина, рабочий Степанов. Это был человек пожилой, забитый, обремененный большой семьей, никогда не имевший никакого касательства ни к каким крамольным затеям, даже избегавший участвовать в простых забастовках. Выступавшие на суде свидетели со стороны полиции, указывая пальцем на Степана, называли его тем блондином Никулиным, которого власти так безуспешно разыскивали. При этом Мефодий Никулин сидит тут же, а агенты сыскного отделения не говорят про него лично ни слова... *).

Кончилось тем, что одного из подсудимых повесили, пятерым дали бессрочную каторгу, а Мефодию Никулину назначили 18 лет каторги. Если бы суд был твердо уверен

---

*) Еще более поразительный случай зарегистрирован в „Праве“ (№ 6 за 1913 г.): 30 января 1913 в закрытом заседании того же Екатеринославского суда должно было слушаться дело о вооруженном захвате станций Алмазная и Ясиноватая. Это осколок большого дела о вооруженном захвате в 1905 г. Екатеринославской дороги, вызвавшем приговор с 48 подлежавшими повешению. Из двух подсудимых один, Бурдул, не явился по старой в екатеринославской тюрьме причине — он заболел тифом. Второй — Борисенко первым делом заявил, что он не имеет ни малейшего отношения к делу, что у него имя и отчество другое, и что принадлежит он к другому сословию... Чтобы понять эффект такого заявления, надо иметь в виду, что Борисенко привлекался по 1 ч. 100 ст. и по 279 ст., которая ведет к виселице... В эти годы усмирительный пыл военных судей значительно остыл, и суду ничего не оставалось делать, как объявить Борисенко свободным.

в его виновности, он получил бы не менее бессрочной; сравнительно с другими сроками, 18 лет каторги означало мягкий приговор, и навряд ли мягкость эта объясняется тем, что сам Никулин вел себя на суде некрасиво и трусливо.

У нас в Орле Никулин почти все время сидел в одиночке. Начальник Колченко, узнав, что он когда-то в Екатеринославе был не прочь бежать из тюрьмы, распорядился никого не сажать к нему в сожители. А при преемнике Колченко, г. Пугавко, когда каторжане ходили настоящими оборванцами, Никулину пришлось объявить трехдневную голодовку, чтобы добиться сносных котов и брюк...

Все пережитое этим несчастным человеком, несомненно, расстроило его психику. Самочувствие у него все время подавленное, он часто впадает в форменную меланхолию. Срок у него большой (18 лет каторги...), а манифест 21 февраля 1913 г. его, как политического, не коснулся вовсе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Недешево обошлись народу эти несколько лет контрреволюции.

---

